

Винтаж



Наоборот

Жорис-Карл Гюисманс



JORIS-KARL
HUYSMANS
À REBOURS

FreeFly

ВИНТАЖ

НАОБОРОТ

Жорис-Карл Гюисманс



FreeFly

УДК 821.133.1 – 31

ББК 84(4Фра) – 44

Г 99

*Перевод с фр. Е. Л. Кассировой
под редакцией В. М. Толмачева*

Гюисманс Ж.-К.

Г 99 Наоборот: Роман / Пер. с франц. – М.: FreeFly, 2005. – 240 с. – Винтаж.

Именно эта книга околдовала Дориана Грея:

«Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Много, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Много, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг».

ISBN 5-98358-054-X

© ООО «ИД «Флюид», 2005

НАОБОРОТ

Москва
2005

*Хочу наслаждаться вечно...
хотя бы и ужаснулся мир моему наслаждению,
хотя бы по грубости своей не понял меня.*

*Рейсбрук Удивительный,
фламандский теолог XIV века*

ВСТУПЛЕНИЕ

Если судить по нескольким портретам, сохранившимся в замке Лурп, семейство Флорессас дез Эссент составляли некогда могучие, суровые рейтары и вояки. Их мощные плечи выпирали из тесных картинных рам, а неподвижный взгляд, усы как ятаганы и выпуклая грудь в огромном панцире производили тревожное впечатление.

Таковы были предки. Портретов их сыновей не сохранилось. В портретной череде поколений зияла дыра. Посредником, неким связующим звеном между прошлым и настоящим служил один-единственный портрет – человека лукавого и загадочного, с каким-то лживым, вытянутым лицом, слегка нарумяненными скулами, напомаженными и перевитыми жемчугом волосами, длинной белой шеей в жестких сборках воротника. Уже в этом образе – одного из ближайших друзей герцога д'Эпернона и маркиза д'О¹ – проступали пороки темперамента ослабленного, с преобладанием лимфы в крови.

Вырождение старинного рода, несомненно, продолжалось. Мужчины все более утрачивали мужественность. Как бы довершая работу времени, дез Эссенты в течение

¹Герцог д'Эпернон, маркиз д'О – миньоны французского короля Генриха III (1551–1589), последнего короля династии Валуа. Миньоны были телохранителями, друзьями, советниками, отличались необычайной храбростью и преданностью.

двух столетий женились и выходили замуж между собой. В родственных браках терялся остаток былой мощи.

От семейства некогда многочисленного, занимавшего чуть ли не весь Иль-де-Франс, оставался теперь единственный отпрыск, герцог Жан, хрупкий молодой человек тридцати лет, анемичный и нервный, с холодными бледно-голубыми глазами, впалыми щеками, правильным, но каким-то рыхлым носом и руками сухими и безжизненными.

По некоему странному закону атавизма последний представитель рода походил на древнейшего предка, красавца, от которого унаследовал необычайно светлую бородку клинышком и двойственный взгляд — усталый и хитрый.

Детство последнего из дез Эссентов было мрачным. Прошло оно в частых золотухах и лихорадках, однако, благодаря прогулкам на свежем воздухе и хорошему уходу, благополучно миновала пора возмужалости, а там уж взяли верх нервы: справились с малокровием и довершили рост.

Его мать, долговязая, молчаливая, блеклая женщина, умерла от истощения. Отец, в свою очередь, скончался от какой-то неопределенной болезни. Дез Эссенту в ту пору исполнилось семнадцать лет. О родителях сохранил он воспоминание, в котором не было ни любви, ни благодарности. Отец, как правило, жил в Париже, и сын совсем его не знал, а мать помнил неподвижно лежащей в темных покоех замка Лурп. Редкие дни супруги бывали вместе, и дез Эссент смутно помнил, как при встрече сидели отец с матерью за круглым столиком, освещенным большим и низким абажуром, — герцогиня не выносила света и шума. В полумраке они обменивались парой слов, затем герцог равнодушно уходил и отбывал с первым же поездом.

У иезуитов, куда Жана отправили учиться, отношение к нему было мягче и доброжелательней. Святые отцы не жили и лелеяли мальчика, дивясь его уму. Однако, вопреки стараниям, они не сумели приучить его заниматься систематически. На одни предметы он набрасывался с жадностью, шутя усваивал латынь, но в греческом двух слов связать не мог, способностей к современным языкам не проявил, а в точных науках еще при прохождении самых азов оказался полнейшим тупицей.

Родители занимались мальчиком мало. Изредка в пансионе навещал Жана отец: «Здравствуй, как поживаешь, слушайся старших, учи уроки». На летние каникулы мальчик приезжал в Лурп. Но присутствие сына не могло вывести герцогиню из грез: она или едва замечала его, или несколько мгновений смотрела на него с почти мучительной улыбкой, а затем вновь погружалась в искусственную ночь, устроенную в комнате плотными шторами.

Слуги были скучны и стары. Ребенок, предоставленный себе, в ненастные дни рылся в книгах, а в погожие — с обеда до ужина бродил в окрестностях замка.

Особенно любил он спускаться в долину и шагать к Жютины, деревушке у подножия холмов — нагромождению домишек в соломенных колпаках, увенчанных пучками живучки и мха. Жан валялся на лугу под сенью высоких стогов сена, слушал глухой шум водяных мельниц, вдыхал свежий ветер Вульси. Порой, гуляя, он доходил до торфяника, порой — до черно-зеленой деревеньки Лонгвиль, а иногда взбирался по склонам, подметенным ветрами, и перед ним открывался необозримый простор. Вот тут, внизу, голубела Сена, убегала далеко-далеко, сливалась с голубизной неба; а вон там, высоко, на горизонте, соборы и башня в Провене, казалось, подрагивали на солнце в золотистой воздушной пыли.

Он читал или мечтал до ночи, упиваясь одиночеством. И оттого, что занят он был одними и теми же мыслями, ум его окреп: идеи, еще неясные, понемногу зрели. После каникул возвращался он к учителям все более вдумчивым и упрямым. И это не ускользнуло от их взгляда. Хитрые и пронзительные иезуиты, привыкшие видеть душу насквозь, они разгадали ум значительный, однако непокорный. Им было ясно, что их ордену подобный ученик славы не добавит, а так как родители его были богаты и, судя по всему, безразличны к будущему сына, святые отцы отступились и более не прочили ему завидной ученой карьеры. И, хотя он охотно вел с ними богословские споры, привлеченный хитросплетением и тонкостью их доктрин, наставники не готовили его к иезуитскому сану², ибо вера его была весьма слабой.

В конце концов они из осторожности – мало ли что – позволили ему заниматься любимыми предметами и не учить нелюбимые, ибо не желали, подражая мелочности светских учителей, оттолкнуть от себя придирками сильный независимый ум.

Таким образом, он жил вполне счастливо, едва замечая опеку наставников; в свое удовольствие занимался латынью и французским, и, хотя богословие не входило в школьный курс, он сполна усовершенствовался в нем, начав заниматься им еще в замке Лурп по книгам, перешедшим к нему от двоюродного прадеда дона Проспера, настоятеля аббатства Сен-Рюф.

²...не готовили к иезуитскому сану. Орден иезуитов был основан для распространения католицизма среди еретиков и язычников в 1539 г. испанским дворянином И. Лойолой. Одной из главных задач ордена было воспитание юношества. Для того чтобы получить посвящение в священники и стать членами ордена, новички должны были в течение 10–11 лет изучать в школе богословие и светские науки. Иезуиты отличались широкой образованностью и исключительной дисциплиной.

Пришло, однако, время проститься с иезуитами. Он достиг совершеннолетия и мог распоряжаться своим состоянием. Кузен и опекун граф де Моншеврель посвятил его в дела. Отношения их продолжались недолго, поскольку общих интересов у старца и юноши не было никаких. Из любопытства, из вежливости и так, от нечего делать, дез Эссент навещал его особняк на улице де Лашез, где томился в обществе ветхих, как мир, тетушек и бабушек, слушая разговоры о генеалогических древах, геральдических лунах и этикете былых времен.

Родичи-мужчины, играя в вист, казались еще косней и глупей старух; сии потомки отважных рыцарей, последние отпрыски знатных родов предстали перед дез Эссентом в образе дряхлых, больных маразматиков, без конца о чем-то нудно и пошло болтавших.

И у него сжималось сердце от жалости к этим мумиям из резных и мозаичных гробниц эпохи великих Людовиков, к унылым теням, устремляющим взоры на мнимые Ханааны³ и Палестины.

После нескольких вечеров, проведенных в этом обществе, он, несмотря на приглашения и упреки, навсегда оставил его. Попытался он сойтись с ровесниками, молодыми людьми своего круга.

Одни также воспитывались в иезуитской школе и несли на себе ее особую печать. Усердно ходили в церковь, причащались на Пасху, посещали католические кружки, а о своих интрижках с девицами умалчивали, как о преступлении, стыдливо опуская глаза. Чаще всего это были тупые фаты, безнадежные лентяи, истощившие терпение преподавателей, но исполнившие их волю — стали смиренными и набожными членами общества.

³Ханаан — земля обетованная, обещанная Богом Аврааму и израильтянам (Быт. 17, 8)

Другие, воспитанники светских лицеев и коллежей, были не такие святоши и тихони, зато не меньшие глупцы и ничтожества. Они распутничали, ездили на бега и в оперетку, играли в баккара и ландскнехт, проматывали состояния за картами, на бегах и в прочих забавах. Год такой жизни — и бесконечная усталость появилась у дез Эссента от всех этих компаний с их разгулом, грубым, убогим, легкодоступным, не задевавшим души и в общем-то не возбуждавшим ни крови, ни нервов.

Мало-помалу он и от них отошел и подался к писателям, с которыми ему и говорилось, и дышалось легче. И снова разочарование: те возмутили его своей злобностью, мелочностью, банальными разговорами и оценкой достоинств написанного по тиражу и гонорару. В то же время он убедился, что свободные мыслители, эти доктринеры от буржуа, жаждут собственной свободы мысли, чтобы душить чужую, тогда как пуритане наглы, жадны, а что до образованности — темней сапожника.

Его презрение к человечеству возросло. В конце концов он понял, что мир состоит в основном из подлецов и дураков. Нигде и ни в ком не было никакой надежды встретить сходные вкусы и пристрастия, такую же склонность к постоянному распаду или, среди людей образованных, — тот же ум, живой и пытливый.

Раздраженный, раздосадованный, разозленный пошлостью, он, подобно людям, которые, как сказал Николь⁴, «от всего больны», в ярости исцарапывал себя до крови, читая по утрам возвышенно-патриотическую чушь в газетах; впрочем, он преувеличивал важность успеха, которым всегда и вопреки всему пользуется у

⁴Николь, Пьер (1625–1695) — французский моралист, автор трактатов «Логика Пор-Руайяля, или Искусство мыслить» (1662) и «Моральные опыты» (1671)

публики печатное слово, лишенное как формы, так и смысла.

Стал он подумывать об изысканной фиваиде, уютной пустыньке, теплом прочном ковчеге, где укрылся бы он от вечного всемирного потопа — людской глупости.

Одно чувство — к женщине — еще могло бы удержать его в этом ничтожном и назойливом мире, но даже и оно истощилось. Он просиживал на плотских пирах как капризный малоежка. Бывал он голоден, но быстро насыщался и терял аппетит. Когда он еще водил дружбу со знатью, то посещал застолья, где пьяные красотки за десертом расстегивают блузки и падают головой на стол; бегал и за кулисы, занимался актерками и певичками — в этих вкупе с женской дурью давало о себе знать непомерное актерское тщеславие; содержал кокоток, уже известных, способствовал обогащению агентств, предлагавших за плату сомнительные утехы; наконец однообразие роскоши и ласк ему приелось, опротивело, и он кинулся в трущобы, на Дно, надеясь насытиться по контрасту, оживить чувства возбуждающей мерзостью нищеты.

Но что бы он ни предпринимал, невыносимая скука одолевала его. Он впал в неистовство, отдался пагубным ласкам самых изошренных искусниц. Но тут не выдержало здоровье, сдали нервы. Появились головные боли и слабость в руках; он мог поднимать тяжесть, но испытывал дрожь в руках, держа самый легкий предмет, какой-нибудь стаканчик.

Он обратился к докторам, и те напугали его. Велели прекратить разгульную жизнь, отказаться от затей, подрывавших силы. Он на некоторое время угомонился. Однако вскоре мозжечок вновь заявил о себе, потребовал новых усад. Подобно тому как девочки в переходном возрасте вдруг тянутся к острой, неудобоваримой пище,

дез Эссент захотел любви особенной, радостей извращенных. И это был конец. Все испытав и всем пресытившись, чувства его впади в летаргию. Близилось бессилие.

Он остался один, протрезвев, чудовищно устав, мечтая и не смея, из животного страха, расстаться с жизнью.

Теперь он хотел удалиться от мира, забиться в нору и, подобно больному, ради которого под окнами — чтобы не тревожить его — расстилают на улице солому, не слышать грохота колес, упрямый бег жизни. Желание дез Эссента утвердилось. Настало время принять решение. Он подсчитал остатки состояния и ужаснулся: большая часть наследства ушла на кутежи и гульбу; остальное было вложено в землю и деньги приносило ничтожные.

И он решился: продал замок Лурп, в котором не бывал и о котором ни веселых, ни грустных воспоминаний не сохранил; сбыл с рук остальную недвижимость и купил государственную ренту; таким образом обеспечил себе ежегодный доход в 50 тысяч ливров, а кроме того, отложил приличную сумму на покупку и обустройство своего окончательного пристанища.

Он объездил столичные предместья и в одном из них, именуемом Фонтеней-о-Роз, на отшибе, у леса, обнаружил домик. Мечта сбылась: в пригороде, наводненном парижанами, он нашел уединение. Скудость средств передвижения и ненадежная железная дорога в этом конце города, а также редкие, случайные трамваи его устраивали. Мечтая об одинокой жизни, которую устроит себе, он радовался вдвойне еще и потому, что его одиночество вне опасности: Париж достаточно далеко, значит, не помешает, и достаточно близко, значит, к себе не потянет. Ведь в самом деле, стоит вам оказаться вдали от какого-нибудь места, как вы тут же по нему и заскучали. Стало быть, он,

не отрезая себе пути в столицу, мог жить без всяких томлений и сожалений.

Он нанял рабочих для ремонта и отделки купленного дома и вот однажды, никому ничего не сказав, продал остатки старого имущества, рассчитал слуг и исчез, не оставив привратнице никакого адреса.

ГЛАВА I

Лишь два месяца спустя дез Эссент смог уединиться в тишине и благодати фонтенейского дома. Перед тем, занимаясь в Париже всякого рода покупками, ему пришлось исколесить весь город, пересекая его из конца в конец.

Магазинов исходил и возможностей перебрал он множество, пока наконец не выбрал для дома ковры и обои!

Дез Эссент издавна прекрасно разбирался в оттенках, подлинных и мнимых. В прежние времена, когда он принимал у себя женщин, устроил будуар по-особому: тело в шелковом, цвета индийской розы шатре, уставленном шкафчиками светлого, камфарного японского дерева, мягко окрашивал просеянный абажуром свет.

Комната эта, удлиненная зеркалами до бесконечности и превращенная в анфиладу красновато-розовых покоев, прославилась у кокоток, которые с наслаждением окунались в теплую ванну густого алого света, с мятным ароматом, исходившим от мебели.

Алый свет словно омолаживал кожу, поблекшую от свинцовых белил и увядшую от ночных излишеств, однако усладами света дез Эссент не ограничился, а устроил себе в этих возбуждавших истому покоях еще совершенно особое наслаждение, которое усилили, даже обострили воспоминания о былых, полузабытых переживаниях.

Так, из ненависти и презрения к собственному детству и в память о давних комнатах родительского замка он подвесил к потолку будуара серебряную клетку со сверчком. И когда он слышал это памятное стрекотание, вспоминал тягостное матушкино молчание по вечерам, и свою детскую покинутость, и страдание. И тогда, машинально лаская подругу, от дрожи ее, смеха, слов, нарушавших грезу и возвращавших к действительности будуара, он вдруг испытывал необычайное душевное волнение, жажду отомстить за былую тоску, покрыть грязью семейные воспоминания, а также бешеное желание задохнуться в пышной плоти и до последней капли испить чашу самых жгучих, самых ядовитых плотских безумств.

Или порой, в минуты хандры, осенней непогоды, когда его охватывало отвращение и к улице, и к дому, и к грязно-желтым небесам, и к пыльно-серым тучам, он приходил в будуар, легонько раскачивал клетку и следил за отражением движения в зеркалах, пока, поглощенный этим, не ощущал, что клетка недвижна, а будуар колышется, кружится, все и вся вовлекая в красно-розовый вальс.

Еще в те времена, когда дез Эссенту хотелось казаться оригинальным, он причудливо и пышно обставил гостиную, устроив в ней всякие укромные уголки, устланные разноцветными коврами: их цвета были разными, но вместе с тем в них проступало неуловимое сходство, смутное соответствие оттенков — сочетание светлого с темным, изысканного с грубым, на манер его любимых латинских и французских книг. И он забирался в один из этих уголков, в тот, цвета которого словно бы передавали суть книги, которую в данный момент ему вздумалось взять в руки.

Дез Эссент устроил вдобавок и сводчатую залу для приема поставщиков: они входили, рассаживались один подле другого, как на церковной скамье, а сам он подни-

мался на пастырскую кафедру и читал им проповеди на темы дендизма, увещевая портных и сапожников свято блюсти заповеди кройки и шитья и угрожая денежной анафемой в случае малейшего несоблюдения его заветов и наставлений.

Он прослыл чудачком и славу эту за собой утвердил, когда стал ходить в белом бархатном костюме с парчовым жилетом и – вместо галстука – с букетом пармских фиалок в вырезе рубашки без воротничка и когда стал давать писателям званые ужины, один из которых устроил, вспомнив о забавах XVIII века, по поводу одной пустычной неприятности и назвал «тризной».

В столовой стены затянули черным, дверь распахнули в сад, по этому случаю также преображенный: аллеи были посыпаны углем, небольшой водоем окаймлен базальтом и наполнен черными чернилами, цветник уставлен туей и хвоей. Ужин подали на черной скатерти, на столе стояли корзины с темными фиалками и скабиозами, горели зеленым огнем канделябры, мерцали свечи в подсвечниках.

Невидимый оркестр играл траурные марши, а блюда разносили нагие негрятки в туфлях без задника и серебристых чулках с блестками, похожими на слезки.

Из тарелок с черной каймой гости ели черепашковый суп, русский черный хлеб, турецкие маслины, черную икру, зернистую и паюсную, копченые франкфуртские колбаски, дичь под соусом цвета лакрицы и гуталина, трюфель, ароматные шоколадные кремы, пудинги, виноградное варенье, чернику, чернослив и черешню. Пили из бокалов дымчатого хрусталя лиманское, тенедосское, русильон, валь-де-пеньяс и портвейн, а после кофе с ореховым ликером, потягивали квас, портер и темное пиво.

Приглашение на поминки по скоропостижно скончавшейся мужественности написано было на манер некролога.

Но все эти сумасбродства, которыми некогда он кичился, давно изжили себя. Теперь он презирал свои прежние ребяческие выходки, дикие наряды, причудливое убранство комнат. И теперь хотелось ему – ради собственного наслаждения, а не напоказ – устроить дом и удобно, и вместе с тем изысканно – сделать себе жилище и необычное, и спокойное, приспособленное к будущему одиночеству.

Когда дом в Фонтенее был, согласно его вкусам и планам, перестроен архитектором и оставалось только отделать и украсить комнаты, он снова задумался о сочетании цветов и оттенков.

Искал он только такие цвета, которые лучше всего проявляются при искусственном освещении, и, если при дневном свете они сухи и тусклы, не имело значения: жил дез Эссент ночной жизнью, полагая, что ночью и уютней, и безлюдней и что ум по-настоящему оживает и искрится только во мраке. И, кроме того, он получал какое-то особое наслаждение, когда сидел в ярко освещенной комнате, а весь дом, погрузившись во мрак, спал, – наслаждение, неотделимое, быть может, от тщеславия и удовлетворения человека, который, проработав допоздна, раздвигает занавеси и обнаруживает, что вокруг в домах тихо, темно и безжизненно.

Он медленно, один за другим, перебрал тона.

Синий цвет при искусственном освещении кажется зеленым; темно-синий, кобальт или индиго, становится черным, а голубой – серым, если же это светло-синий или нежно-голубой, как, например, бирюзовый, то он тускнеет и бледнеет.

Не могло быть и речи о том, чтобы пустить его на окраску комнаты, он годился разве что на дополнение к основному цвету.

А вот серый, если он холодный, стальной, наоборот, при свете ламп становится еще холоднее и тверже; жемчужно-серый теряет голубоватый отлив и становится грязно-белым; коричневые цвета черствеют и остывают; темно-зеленые, малахитовый или хвойный, ведут себя как темно-синие, отливая черным; остаются, стало быть, ярко- и светло-зеленые цвета – павлиний глаз, гуммилак или киноварь, но они лишаются синевы, а приобретают лишь желтизну, которая выглядит фальшиво и резко.

Ни к чему были также и розовые тона – лососины, чайной розы и тот нежный розоватый, который томил и не давал думать об уединении; исключались, наконец, и фиолетовые: подобно винам, они отстаивались и в бликах света делались красными, и какими! Липкими, вязкими, мерзкими; да и вообще фиолетовый тем плох, что с примесью сантонина лиловет и искажает расцветку обоев.

Итак, оставались лишь три цвета: красный, желтый, оранжевый.

Дез Эссент выбрал оранжевый, подтвердив тем самым теорию, которую всегда считал математически точной: художественные натуры связаны с цветом, любимым и выделяемым ими.

Итак, думал дез Эссент, не будем принимать во внимание людей заурядных, чей грубый глаз не заметит ни ритма цвета, ни таинственной прелести его угасания и перехода от оттенка к оттенку; исключим обывателя, который не воспримет торжественного великолепия сильных, горячих тонов; но обратимся к людям зорким, тонким, образованным. В этом случае очевидно, что, например, идеалист, мечтатель, строитель воздушных замков предпочтет, как правило, синий цвет со всеми его производными, скажем, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они не утратили своей нежности, легкой

неопределенности, не стали просто фиолетовыми или серыми.

А в частности, любители поволочиться за дамами и вообще люди полнокровные, сановники, здоровяки, которые презирают половинчатость, мимолетность и бросаются во все очертя голову, они обожают и ярко-желтые, и кричаще-красные, карминные, и зеленый хромовый. Эти цвета ослепляют и опьяняют их.

И наконец, люди болезненные и истерики – их чувственный аппетит просит острого, пряного, и они в своих перевозбуждении и немощи все как один любят именно этот раздражающий, бьющий по нервам и полный призрачного блеска оранжевый цвет.

Выбор дез Эссента не оставлял, таким образом, ни малейшего сомнения; правда, имелись некоторые трудности. При вечернем освещении красный и желтый цвета проявляются еще лучше, а вот с их производным оранжевым все не так просто. Оранжевый может вспыхнуть и зачастую переходит в рыжий, в огненно-красный.

Все эти оттенки дез Эссент изучил при свечах, и один из найденных был более или менее устойчив и отвечал его требованиям; закончив с выбором цвета, он решил по возможности, во всяком случае, у себя в кабинете, не обзаводиться восточными коврами и обоями. С тех пор как, добыв их со скидкой, ими начали украшать дома разбогатевшие торговцы, они стали выглядеть пошло и опротивели ему.

И дез Эссент придумал затянуть стены кабинета, точно книги, сафьяном, крупнозернистой выделки марокканской кожей, вышедшей из-под толстых стальных пластин мощного пресса.

После того как было покончено со стенами, он велел выкрасить плинтусы лакированным индиго – темно-синей

краской, какой каретники покрывают панели экипажей, а сафьяном пройти по краю потолка и затянуть его, чтобы он походил на распахнутое слуховое окно, небесно-голубым, затканым серебристыми ангелами шелком. Ткань эта была в свое время изготовлена кельнским ткацким товариществом и предназначалась для церковных мантий.

Работы завершились, и к вечеру все соединилось, пришло в согласие, встало на свои места. Синевя панелей загустела, словно подогретая оранжевым цветом, и в свою очередь усилила – но не исказила, – разожгла его огонек своим жарким дыханием.

Что касается кабинетной мебели, тут дез Эссент голову себе не ломал, потому что главным украшением комнаты были книги и редкие растения. И он, рассудив, что картины и рисунки развесит впоследствии, занял почти все стены книжными эбеновыми шкафами и полками, устелил пол звериными шкурами, мехом голубого песка и придвинул к массивному меняльному столу XV века глубокие кресла с подголовником и старинный, кованый пюпитр – церковный аналой, на котором в незапамятные времена лежал дьяконский требник, а ныне покоился увесистый фолиант, один из томов «Glossarium medie et infimae latinitatis» Дю Канжа¹. Окна, голубоватые кракле и бутылочно-зеленые в золотистую крапинку, закрывали весь пейзаж, почти не пропускали света и, в свою очередь, затянуты были шторами, шитыми из кусков епитрахили: ее тусклое, словно закопченное, золото угасало на мертвой ржавчине шелка.

¹Дю Канж, Шарль Рене де (1610–1688) – французский историк, филолог, лексикограф. «Glossarium medie et infimae latinitatis», то есть «Латинский глоссарий», работа над которым велась свыше сорока лет, был отредактирован в 1678 г. В нем прокомментированы 140 000 слов латинского языка, даны исторические и философские экскурсы. Этот труд явился результатом внимательного изучения пяти тысяч латинских авторов.

Наконец, на камине, с занавеской также из стихаря роскошной флорентийской парчи, между двух византийского стиля позолоченных медных потиров из бьеврского Аббатства-в-Лесах находилась великолепная трехчастная церковная риза, преискусно сработанная. В ризе под стеклом располагался веленевый лист. На нем настоящей церковной вязью с дивными заставками были выведены три стихотворения Бодлера: справа и слева сонеты «Смерть любовников» и «Враг», а посередине – стихотворение в прозе под названием «Any where out of the world» – «Куда угодно, прочь от мира».

ГЛАВА II

Продав все свое имущество, дез Эссент оставил при себе чету старых слуг, которые ходили за его матерью и позже исполняли обязанности одновременно и управляющих, и привратников в замке Лурп, пока он был, вплоть до его продажи с торгов, пуст и необитаем.

Дез Эссент привез в Фонтеней этих стариков, которые привыкли ухаживать за больным, строго по часам, как сиделка, поить его микстурами и настоями из трав, соблюдать, как монахи-затворники, суровую тишину, не сообщаясь с внешним миром в своих двух комнатках с закрытыми дверьми и окнами.

Мужу поручено было убирать дом и ходить за провизией, жене – готовить. Он отвел им для жилья второй этаж, велел носить толстые войлочные туфли, устроил двойные двери, смазал их, а полы на втором этаже устелил коврами, чтобы никогда не слышать шагов у себя над головой.

Он договорился с ними об условном языке звонков, определив в зависимости от надобности их число, кратность и продолжительность; вменил старикам в обязанность приносить расходную книгу к нему на письменный стол по утрам, пока он спит, – словом, сделал все, чтобы видеть и слышать их как можно реже.

Тем не менее, поскольку старухе приходилось временами, по дороге за дровами в сарай, проходить у него под ок-

нами, он, чтобы смягчить ее силуэт в оконных витражах, заказал ей платье из фламандского фая, с белым чепцом и черным, широким и низким капюшоном, какой до сих пор еще носят гентские монахини. Ее тень, мелькая в сумеречных стеклах, напоминала ему о монастыре, благочестивом приюте – тихом, укромном месте на отшибе живого и шумного города.

Раз и навсегда он назначил и время еды; блюда, впрочем, были скромны и непритязательны, так как больной желудок не принимал пищи обильной или тяжелой.

В пять часов вечера, зимой уже в сумерках, он завтракал: съедал два яйца всмятку, жаркое и выпивал чашку чая; в одиннадцать вечера обедал; ночью пил кофе, а иногда вино или чай. Ужинал дез Эссент легко, вернее, закусывал в пять утра, ложась спать.

Ел он в небольшой столовой, сидя за столом посреди комнаты, причем на каждое время года он установил особое меню и последовательность блюд. Столовая находилась рядом с кабинетом и была отделена от него коридором, плотно обитым и наглухо закрытым, не пропускавшим ни звуков, ни запахов ни в одну, ни в другую комнату.

Эта столовая напоминала каюту корабля сводчатым потолком с изогнутыми балками, обшивкой из смолистой сосны и окошком-иллюминатором в деревянной раме. Подобно китайской табакерке, маленькая столовая была вставлена в большую, настоящую, отстроенную по воле архитектора.

В этой большой было два окна. Одно – невидимое, скрытое панелью, которая, правда, открывалась, чтобы дать доступ воздуху и проветрить обитую сосной вставную коробочку. Другое окно, прямо напротив иллюминатора в раме, видимое, но заколоченное, никогда не открывалось; впрочем, между ним и иллюминатором помещался огромный аквариум и занимал все пространство от окна

большой столовой до иллюминатора маленькой. Стало быть, дневной свет попадал в сосновую коробочку через зеркальное, но не покрытое амальгамой стекло окна, затем через воду и обычное стекло окошка.

Когда на столе кипел самовар, а за окном садилось осеннее солнце, вода в аквариуме, превращая ясный закат в мутную стеклянистую зарю, алела и рассеивала на светлой стенной обшивке отсвет раскаленных углей.

Иногда после полудня дез Эссент, если случайно вставал раньше времени, открывал хитроумные аквариумные краны и краники, сливал воду, заполнял аквариум свежей водой и, подкрашивая ее цветной эссенцией, делал, в соответствии с собственным настроением, зеленой, зеленоватой, опаловой или серебристой – такой, какой она бывает в реках в зависимости от цвета неба, силы солнечного света, близости дождя – словом, в зависимости от погоды и времени года.

И тогда он представлял себе, что гуляет по нижней палубе парусного судна, и с любопытством разглядывал дивных заводных рыбок, сделанных как часовой механизм, которые проплывали мимо окошка иллюминатора и зависали в искусственных водорослях; или же, вдыхая запах смолы, которым до его прихода наполнили столовую, он то любовался – как в судоходных пассажирских агентствах или у Ллойда – цветными настенными гравюрами кораблей, плывущих в Ла-Плату и Вальпараизо, то изучал обрамленное рамочкой расписание рейсов «Ройял Мейл Стим Пэкит», «Лопес и Валери», перечень стоянок и услуг Атлантических Почтовых Служб.

А потом, устав от таблиц, он нежил взгляд хронометрами, буссолями, секстантами¹, компасами, биноклями и

¹*Секстант – уголомерный астронавигационный инструмент для измерения высоты небесных светил.*

картами. Карты лежали на столе вместе с одной-единственной книгой в нерповом переплете – «Приключениями Артура Гордона Пима»², которая была издана в одном экземпляре по дезэссентовскому заказу на верже³ высшего сорта, листами постранично отобранными и с водяными знаками в виде чайки.

Заодно мог он бросить взгляд на рыболовные снасти: моченые рыболовные сети, удилища, скатанные в рулон и выгоревшие на солнце паруса, насаженный на пробку черенный якорек – все это громоздилось у двери в коридор, ведущий на кухню, обитый ворсистой тканью и поглощавший, как и коридор из столовой в кабинет, и звуки, и запахи.

Тем самым он сохранял нетронутыми беглые, даже мимолетные впечатления долгого путешествия. Наслаждение от них, впрочем, всегда в прошлом, в памяти и никогда – в настоящем, в событиях самих по себе. И эти впечатления и наслаждение от них он переживал и переживал в своей крошечной каюте, которая своим нарочитым антуражем и беспорядком как нельзя лучше подходила для кратких и легких трапез. Она в полной мере отвечала запросам расположившегося на недолгий привал скитальца и резко отличалась от кабинета – чего-то неизменного, основательного, обустроенного – домашнего гнезда домоседа.

К тому же дез Эссенту казалось, что путешествие бесполезно, что воображение всегда полнее и выше любых проявлений грубой реальности⁴. По его мнению, даже самое неисполнимое в обычной жизни желание вполне воз-

²«Приключения Артура Гордона Пима» – новелла Э. По.

³Верже – сорт бумаги с узором в виде крупной сетки.

⁴Гюисмакс развивает здесь мысль, высказанную Бодлером в эссе «Салон 1859 года», где поэт, выступая против живописцев-натуралистов, противопоставляет им Фантазию, «королеву качеств», и говорит: «...позитивной банальности я предпочитаю чудищ собственной фантазии».

можно удовлетворить, если слегка заменить или подделывать сам предмет желания. Так, совершенно очевидно, что в ресторанах, которые славятся своей выпивкой, любой гурман и в наши дни умеет насладиться прекраснейшими винами, которые сделаны из дрянного уксуса по методу г-на Пастера. У этих вин тот же, что и у настоящих, цвет, вкус, запах, и, стало быть, гурман получает то же наслаждение, что и при дегустации бывшего уксуса, но при этом подделка во сто крат доступней и дешевле оригинала.

А если перейти от мира материального к духовному, применить также и к нему закон всеобщего надувательства, то и тут очевидно можно, причем столь же легко, насладиться вымышленными радостями, которые ничем не отличаются от явных. Очевидно и другое: можно, не отходя от камина, странствовать по свету, если возбудить праздное или строптивное воображение книгой о дальних странствиях. И еще очевидно: можно ощутить бодрящую радость морского заплыва, если принять ванну в купальнях Вижье, на Сене.

А если при этом подсолить себе воду, добавив в нее по рецепту из медицинского справочника хлорат магния, хлорат извести и сульфат соды; если достать из плотно закрывающейся коробки моток веревки или бечевки, специально купленный в магазине, где торгуют канатами и где все, от прилавка до складских помещений, насквозь пропитано запахом гавани и прибоа; и если вдохнуть этот запах моря, который из мотка еще не выветрился; и если посмотреть на фотографию приморского казино или прочесть в путеводителе Жоанна о красотах желанного пляжа; и если задремать под колыбельную песенку волн, которые подняты проплывающими мимо прогулочными лодками; и если вдобавок прислушаться к жалобам ветра под

мостами или глухому рокоту омнибусных колес неподалеку на Пон-Рояле – полное впечатление, что вы на море.

Надо только взяться умеючи, сосредоточиться на чем-то одном, от всего отвлечься и выдать желаемое за действительное, создав желанное видение искусственно.

Искусственность восприятия казалась дез Эссенту признаком таланта.

Природа, по его словам, отжила свое. И уж на что утонченные люди терпеливы и внимательны, и то им приелось тошнотворное однообразие небес и пейзажей. Природа в сущности – узкий специалист, замкнувшийся в своей области. Или, может быть, она мелкий лавочник, навязывающий свой товар. И все в ней – скучная лесостепная торговля или скучные горные и морские общества!

И нет ничего особенного в якобы мудрых и великих творениях природы, чего не мог бы повторить человеческий гений. Лесную чащу заменит Фонтенбло, лунный свет станет электрическими огнями, водопады без труда обеспечит гидравлика, скалу изобразит папье-маше, а цветы воссоздаст тафта и цветная бумага!

Словом, совершенно ясно: бессмертная кумушка наконец истощила благожелательное терпение ценителей, и давно пора заменить, насколько это возможно, все естественное искусственным.

А кстати, если взять самое, как считается, изысканное ее творение, признанное всеми как самое что ни есть совершенное и оригинальное, – женщину, так разве же человек, в свой черед, не создал существо, хотя и одушевленное искусственным образом, но равное ей по изяществу, и разве вообще сравнится какая-либо из них, во грехе зачатая и в муках рожденная, с блеском и прелестью двух красавиц машин – локомотивов Северной железной дороги?!

Одна машина – госпожа Крэмpton, прелестная звонко-голосая блондинка, длинная, тонкая, в сияющем медном корсете и с кошачьей грацией. Белокурая щеголиха так и потрясает вас, когда, напрягая стальные мускулы и поводя боками в горячей испарине, приводит в движение огромные колесные круги и несется, вся порыв, во главе скорого поезда и ветра!

А другая – госпожа Энгерт, дородная, величественная смуглянка с глухим, хриплым зовом, коренастая, грузная, в чугунном платье – свирепая кобылица с растрепанной гривой черного дыма, о шести низких парных колесах. Так и задрожит под ней земля, когда с первобытной мощью, натужно, медленно она потащит за собой тяжелый хвост товарных вагонов!

А вот природа, хоть и создала своих хрупких блондинок и крепких брюнеток, до подобной легкой грации и дикой мощи не возвысилась! И можно с полным правом сказать: человек творит в своем роде не хуже Творца, в которого верит.

Эти мысли посещали дез Эссента, когда он слышал постукивание вагончиков, круживших, как заводной игрушечный поезд, между Со и Парижем. Дом его находился всего в двадцати минутах ходьбы от фонтенейской станции, но расположен был и высоко, и на отшибе – шум и гам вокзальных воскресных толпищ до него не долетал.

Что касается окрестностей, дез Эссент почти не знал их. Однажды ночью он любовался из окна неподвижностью пейзажа, который, захватывая всю равнину, тянулся до холма с Верьерским лесом на вершине.

Во тьме, за холмом, и справа, и слева угадывались расплывчатые силуэты других рощ и холмов, чьи далекие склоны серебрились в лунном свете на черном фоне неба.

Равнина в тени этих холмов не была видна, но в самой середине белела, словно была посыпана крахмалом и тронута кольд-кремом. Ветер шевелил выбеленную траву и приносил резкие пряные ароматы, а деревья, исчерченные лунным мелом, растрепанные, раздвоенные, исполосовывали штукатурку равнины, на которой, как осколки тарелок, блестели булыжники.

Своей неестественностью и загримированностью пейзаж этот, пожалуй, нравился дез Эссенту, однако с тех пор, как однажды после полудня он бродил по Фонтенею, подыскивая себе жилье, он ни разу не отправился на прогулку. Местная растительность была ему, по правде сказать, безразлична, потому что не обладала тем тонким, болезненным обаянием, какое таят в себе жалкие, чахлые деревца, с трудом растущие на городских окраинах. И кроме того, дез Эссент тогда, в день поисков, повстречал толстых, усатых чиновников с бакенбардами и военных в мундирах. Они несли свою голову, точно реликвию. После этого дез Эссент исполнился еще большего отвращения к человеческим физиономиям.

Да и вообще в самые последние месяцы своего парижского житья, когда он, бросив все, находился в тоске и хандре и у него до того истончились нервы, что образы неприятных предметов или людей запоминал в подробностях и несколько дней кряду не мог, как ни старался, изгладить из памяти, — мимолетный вид человека на улице стал для него жесточайшей пыткой.

Он и в самом деле буквально страдал при виде некоторых человеческих типов, считая для себя личным оскорблением иную слащавую или угрюмую мину. Ему хотелось отхлестать по щекам вон того господина, который прогуливался, прикрыв с умным видом глаза, и вон того субъекта, который, улыбаясь, поворачивался то одним, то дру-

гим боком перед своим отражением в витринах, и еще того, который, казалось, передумал обо всем на свете и, сдвинув брови, поглощал тартинки попеременно с газетными статьями.

И он столь ясно чувствовал, как эти господа непроходимо глупы — и как ненавидят его мысли, и как плюют на литературу, искусство и на все, что ему дорого, и как закоснели, укоренились, закупорились в своем убогом доляческом умишке и думают только о барыше, как бы кого надуть, да еще о политике, любимом предмете всех бездарей и ничтожеств, — что возвращался домой в бешенстве и снова уединялся там со своими книгами.

Наконец, он ненавидел изо всех сил и новое поколение, этих толстокожих молодчиков, которые трещат без умолку и во все горло гогочут по ресторанам, а на улице задевают вас и, не кивнув, не извинившись, толкают вам прямо под ноги детскую коляску.

ГЛАВА III

Часть полок в его сине-оранжевом кабинете занимала исключительно латинская литература, та самая, применительно к которой знатоки, ученые рабы жалкой сорбоннской премудрости, употребляют термин «декаданс».

И действительно, язык эпохи «расцвета», как неверно, но еще упорно определяют ее профессора, дез Эссента не привлекал. Эта латынь, ограниченная, с рассчитанными и незыблемыми конструкциями, негибкая, бесцветная, тусклая, латынь сглаженная, с залатанными основами и облегченными оборотами, сохранившая, правда, остатки былой образности, — такая латынь годилась на величественное пережевывание сказанного, общие места, переливание из пустого в порожнее риторических фигур и поэтических штампов, но была до того скучна, до того неинтересна, что в лингвистических исследованиях ее могли бы сравнить с французским языком эпохи Людовика XIV — таким же нарочито расслабленным, таким же торжественно-утомительным.

К примеру, нежный Вергилий, которого школьные учительши зовут «мантуанским лебедем», — наверно, потому, что он не из Мантуи родом, казался ему страшным, невыносимым педантом, первейшим занудой древности. Эти его пастухи, чистюли и франты, поочередно выливавшие друг другу на голову ведра холодных и нравоучительных

виршей, и Орфей, «соловей в слезах», и Эней, персонаж нечеткий, расплывчатый, как китайская тень на броском и несколько неуместном экране, – все эти Вергилиевы герои бесили дез Эссента. Он бы еще стерпел вздорную болтовню всех этих марионеток, стерпел бы и бесстыдные заимствования у Гомера, Феокрита, Энния¹, Лукреция и даже просто кражу – как показал Макробий², вторая песня «Энеиды» почти слово в слово списана из Писандра, – словом, невыносимую пустоту многих, многих песен поэмы. Но более всего дез Эссента ужасала сама форма гекзаметров, звонких и гулких, как пустой бидон, меряющих литры стиха по всем правилам мелочной и скучной просодии; раздражала структура стихов, невнятных и чопорных, с реверансами грамматике, с непременно механической цезурой в середине и ударом дактиля о спондей в хвосте.

И Вергилиева метрика, перенятая у чеканного Катулла, монотонная, без фантазии, без чувства, с массой лишних слов и пустот, длиннотами, с однообразными делаными концовками, и убогие Вергилиевы эпитеты, взятые у Гомера, то и дело повторяющиеся и ничего не обозначающие и не изображающие, бесцветный и беззвучный бедный словарь – все это было для дез Эссента мукой мученической.

Надо сказать, что, не особо почитая Вергилия и недолюбливая ясного и обильного Овидия, он безгранично и со всем жаром души ненавидел Горация с его слоновьим изяществом, щенячьим твяканьем и клоунскими ужимками.

¹Энний, Квинт (239–169 до н. э.) – грек, родом из Калабрии, латинский поэт, создатель римского эпоса и родоначальник латинской поэзии, автор «Анналов», в которых описана история Рима.

²Макробий, Амвросий Феодосий (р. ок. 400) – латинский ученый, писатель и чиновник, находившийся в оппозиции к христианской религии. Автор «Сатурналий» в 7 книгах и комментария к книге Цицерона «Сон Сципиона».

Что касается прозы, обилие глаголов, цветистый слог, запутанные фразы Гороха-Во-Рту дез Эссент тоже не особо жаловал. Бахвальство речей, патриотический пафос, напыщенность здравниц, удушающее нагромождение слов – колыхание расплывшегося мяса и жира, не знающих реальности ребер и позвоночника, – сплошной шлак длинных наречий в начале фразы, неизменные, одни и те же построения периодов – грузных и плохо связанных синтаксически – и, наконец, невыносимые бесконечные тавтологии дез Эссента далеко не восхищали. Но и Цезарь со своим хваленым лаконизмом нравился ему не больше Цицерона, так как в этой крайности другого рода заключались сухость справочника, прижимистость, недопустимая и неподобающая.

Короче говоря, не нашел он себе корма ни в этих писателях, ни в тех, кого предпочитают любители табели о рангах. Саллюстий, правда, все же не столь тускл, как прочие, Тит Ливий слишком чувствителен и высокопарен, Сенека претенциозен и бесцветен, Светоний вял и незрел. Тацит в своей нарочитой сжатости – самый нервный, резкий, самый мускулистый из всех. А что до поэзии, то его нимало не трогали ни Ювенал, хотя им и была подкована основательно рифма, ни Персий, хотя тот и окружил себя таинственностью. Не ценил он ни Тибулла с Проперцием, ни Квинтилиана, ни обоих Плиниев, ни Стация, ни Марциала Билибильского, ни Теренция, ни даже Плавта. Плавт еще бы и ничего, неплох его язык – сплошь неологизмы, слова то сложные, то уменьшительные, но грубоватая соленость плавтовского комизма ужасна. Дез Эссент потянулся к латыни, лишь когда прочел Лукана³. У Лукана она шире, выразительней, жизнерадостней; искусно сработанный, покрытый эмалью и осыпанный бриллиантами стих пленял

³Лукан, Марк Энний (39–65) – племянник Сенеки Старшего, римский поэт, автор поэмы «Фарсалия».

дез Эссента, хотя, конечно, слишком богатая отделка и особенная стиховая звонкость не заслоняли пустоту мысли, не скрывали дутых достоинств «Фарсалии».

Впрочем, навсегда он отложил в сторону Лукана, потому что по-настоящему полюбил Петрония.

Петроний был и наблюдатель зоркий, и аналитик тонкий, и художник яркий. Спокойно, непредвзято, бесстрастно изображал он в «Сатириконе» римский быт, нравы эпохи.

Постепенно подавая факт за фактом и добиваясь их полновесности, Петроний самым подробным образом описывает жизнь народа, его попойки и случки.

Вот в гостинице смотритель требует списки вновь прибывших. Или в лупанаре гости кружат вокруг голых девиц с дощечками, описывающими их прелести, а в неприкрытые двери комнат видны любовные игры парочек. Или во дворцах, до безумия богатых и до бесстыдства роскошных, а также в лачугах – лачуги и дворцы чередуются, – в нищих притонах через складные кровати с клопами проходит все общество тех времен: грязные плуты, такие, как Аскилт и Евмолп, в погоне за удачей; старые шлюхи с неоправленными платьями, набеленные и нарумяненные; пухлые и кудрявые шестнадцатилетние Гитоны; бьющиеся в истерике женщины; искатели наследств, предлагающие своих девочек и мальчиков завещателям, – все это на страницах романа льется по улицам многоголосым потоком, сходится в банях и, как в пантомиме, размахивая кулаками, дерется.

Писано это необычайно ярко, точно, слогом, который впитал в себя все диалекты, заимствовал выражения из всех римских наречий, что нарушает нормы и условности так называемого «золотого века». У каждого персонажа свой язык: невежи и вольноотпущенники говорят на вульгарной уличной латыни, иностранцы – на тарабарщине, смеси африканского и сирийско-греческого, безмозглые

педанты вроде Петрониева Агамемнона – в витиевато-книжном духе. Росчерк пера – и перед читателем живые лица: сидят за столом, мелют пьяный вздор, твердят, обратив свои кувшинные рыла к Трималхиону, старческие назидания и нелепые поговорки, а Трималхион ковыряет в зубах, предлагает гостям ночные горшки, сообщает им о состоянии своего кишечника, портит воздух, зовет и остальных не стесняться.

И этот реалистический роман, кусок живого мяса, вырезанный из плоти римской жизни, это творение без изысков стиля и, что бы ни говорили ученые, без претензий на сатиру; эта повесть о приключениях содомитов, без интриги, без действия, но с тонким и точным описанием оттенков подобной любви и ее рабов; эта книга точного слова, где нет ни единого авторского комментария, ни намек на положительную или отрицательную оценку мыслей и поступков персонажей или пороков одряхлевшей цивилизации и давшей трещину империи, – роман этот совершенно покорила дез Эссента. Самой фактурой языка, остротой наблюдений и искусством повествования он напомнил ему некоторые современные французские романы, которые он в общем любил.

И, разумеется, он безумно жалел, что два Петрониева шедевра, «Евстион» и «Альбуция», о которых упоминает Плансиад Фульгенций⁴, навсегда утрачены. Однако дез Эссент-книголюб утешал дез Эссента-книгодея, когда с благоговением раскрывал великолепное издание «Сатирикона» in octavo⁵ с выходными данными: 1585 год, Ж. Дуза. Лейден.

От Петрония Дезэссентово собрание латинских авторов устремилось во II век по Рождестве Христовом, мино-

⁴Фульгенций, Фабиус Плансиад (VI в.) – латинский грамматик и мифолог.

⁵In octavo (лат.) – восьмиугольный формат или книга в восьмую долю листа.

вало аморфный, неустановившийся и полный сорняков слог оратора Фронтонa, миновало «Аттические ночи» его ученика и друга Авла Геллия⁶, мыслителя прозорливого и пытливого, но по-писательски нудного и тягучего, и, осуществив несколько скачков и перебежек, остановилось на Апулее. У дез Эссента имелось первое издание Апулея, ин-фолио, отпечатанное в Риме в 1469 году.

Африканцем дез Эссент наслаждался. Во-первых, в его «Метаморфозах» латынь достигла расцвета; в ней был источник всех диалектов, смешенье которых, как чистых, так и по-провинциальному замутненных, привело к созданию странного, экзотического и почти нового языка; маньеризмы и приметы латинского общества в римском уголке Африки породили свежие образования разговорной речи. Во-вторых, дез Эссента забавляла жизнерадостность автора, по-видимому, человека тучного, веселила его южная горячность. Он казался распутным гулякой рядом со своими современниками, христианскими апологетами. Например, псевдоклассик Минуций Феликс⁷ просто погружал в сон. Его «Октавий» вязко маслянист и вдобавок утяжелен Цицероном, даже Тертуллианом⁸. Тертуллиана же

⁶Геллий, Авл (р. ок. 130) – латинский римский грамматик и критик. Автор сборника «Аттические ночи» в 20 книгах, в которых изложены материалы из различных отраслей науки.

⁷Минуций Феликс, Маркус (ок. 200–250) – латинский ритор, автор апологетического сочинения «Октавий». Подражал Цицерону в построении диалогов.

⁸Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (160 – после 220) – первый латинский богослов, моралист. Был пресвитером, но с 202 г. перешел в монتانнизм. До 202 г. выступал против еретиков и язычников, а также гонителей христианства в лице правительства и императоров. Во второй период творчества боролся с противниками монтаннизма, гностиками. Для христиан устанавливает строгие правила вплоть до мученичества. Основные произведения: «Апологетика», «Трактат о терпении», «De cultu feminarum» («Об одежде женщин»).

дез Эссент хранил скорее всего потому, что его издателем был Альд.

Дез Эссент хотя и был начитан в богословии, но спорами христианских богословов с монтанистами и гностиками не интересовался. Ему, пожалуй, был любопытен стиль Тертуллиана, лаконичный, но неоднозначный, нравились противопоставления, игра слов, понятия, заимствованные у риториков и отцов церкви. Но все равно ни Тертуллиановой «Апологетики», ни его «Трактата о терпении» дез Эссент больше в руки не брал. Разве что изредка перечитывал две-три странички из «De cultu feminaum», где Тертуллиан умоляет женщин не носить шелков и драгоценностей и запрещает им румяниться и белиться, ибо это искажает и приукрашивает природу.

Подобные идеи были диаметрально противоположны его собственным, и чтение Тертуллиана вызывало у дез Эссента улыбку; кроме того, он считал, что Тертуллианово епископство в Карфагене свидетельствует о некоей неотмирной мечтательности, и тянулся к нему скорее как к человеку, нежели как к писателю.

Тертуллиан жил в беспокойное, полное бурь время при Каракалле⁹, Макрине¹⁰ и поразительном верховном жреце из Эмеза Элагабале¹¹, но преспокойно писал свои проповеди, поучения, догматические сочинения и апологетические речи, когда до основания сотрясалась Римская импе-

⁹Каракалла (прозвище М. Аврелия Севера Антонина) (186–217) – римский император из династии Северов. В 212 г. создал эдикт о даровании прав римского гражданства провинциалам. Убит заговорщиками.

¹⁰Макрин (М. Оппелий Север, 164–218) – римский император, стоял во главе заговора против Каракаллы.

¹¹Жрец из Эмеза, Элагабал (настоящее имя М. Аврелий Антонин, 204–222) – римский император после Макрина, происходил из сирийской аристократии, из рода жрецов г. Эмеза. С 217 г. был верховным жрецом в храме бога Солнца г. Эмезе.

рия, безумствовал Восток и все тонуло в языческих нечистотах. И совершенно хладнокровно проповедовал он плотское целомудрие, воздержание в еде и питье, строгость в одежде, в то время как Элагабал, увенчанный тирарой, на золотом песке и в серебряной пыли, занимался в обществе евнухов женским рукоделием, приказывал величать себя «императрицей» и каждую ночь менял себе «императора», выбирая на эту роль то брадобрея, то повара, то циркового наездника.

Подобный контраст дез Эссента буквально притягивал. Однако и самая зрелая – Петрониева – латынь несла на себе печать увядания и утраты формы. Пришли христианские писатели, появились новые мысли и слова, малоупотребительные конструкции, неизвестные глаголы, мудреные прилагательные и абстрактные существительные, в латыни редкие, Тертуллианом одним из первых введенные.

Но уже после смерти Тертуллиана эта утрата чеканности, расплывчатость, к примеру у его ученика св. Киприана¹², у Арнобия¹³, у вязкого Лактанция¹⁴, едва ли удобоварима. Латынь выдерживается, как мясо дичи, но слабо, недостаточно, с Цицероновыми пряностями, весьма сомнительными. В этой латыни нет еще своей изюминки. Ее черед придет позже, в IV веке, и особенно в последующие столетия. Духом христианства повеет на мерзкую плоть

¹²Св. Киприан (нач. III в. – 258) – епископ, мученик, христианский писатель («Об объединении церквей»).

¹³Арнобий Старший (ум. ок. 327) – древнехристианский латинский писатель, современник Диоклетиана. Учитель риторики. Автор апологетического трактата «7 книг против язычников».

¹⁴Лактанций, Целий Фирмиан (ум. после 317) – латинский христианский писатель. Его главные произведения «Divinae institutiones» («Божественные установления») и «De mortibus persecutorum» («О смерти гонителей»). За образцовый язык получил прозвище «христианского Цицерона».

язычества, и она пойдет тленом, когда распадется старый мир и под натиском варваров рухнут империи, перемолотые в кровавых жерновах времени.

Христианский поэт Коммодиан де Газа¹⁵ один-единственный представлял в его библиотеке III век. Книга песен «*Carmen apologeticum*», написанная в 259 году, – сборник поучений-акростихов и расхожих гекзаметров. В них не учитывалось количество ни зияний, ни ударений, зато непременно ставилась цезура, как в героических одах. А порой вводились рифмы, которые впоследствии церковная латынь будет употреблять сплошь и рядом.

И эти стихи, напряженные, мрачные, полные элементарной нутряной силы, изобилующие разговорными выражениями и словами с не совсем ясным начальным смыслом, очень нравились дез Эссенту. И еще больше нравился, кстати, перезрелый, до одури душный слог писателей, наподобие историков Аммиана Марцеллина¹⁶ и Аврелия Виктора¹⁷, сочинителя эпистол Симмаха¹⁸ и грамматика-комментатора Макробия. Они влекли его,

¹⁵Коммодиан де Газа (сер. III в.) – один из первых латинских христианских поэтов. Автор «*Instructiones*» («Наставления») и «*Carmen apologeticum*» («Апологетические стихи»).

¹⁶Аммиан, Марцеллин (ок. 330 – ок. 400) – римский историк, автор сочинения «*Деяния*» (31 кн.), которое было задумано как продолжение «*Анналов*» и «*Историй*» Тацита, в нем описаны события от 96-го до 378 г. Автор кратких биографий римских императоров (от Августа до 360 г.).

¹⁷Виктор, Секст Аврелий (IV в.) – римский историк. Автор краткой истории императоров от Августа до Константина II под названием «*Книга о Цезарях*».

¹⁸Симмах, Квинт Аврелий (ок. 345–403) – римский политик и оратор. В 384–385 гг. – префект Рима, в 391 г. – консул. Глава кружка, объединявшего представителей сенаторской аристократии, боровшихся против христианства, за возрождение римской веры и сохранение римского культурного наследия.

пожалуй, даже больше, чем Клавдиан Рутилий¹⁹ и Авзоний²⁰, стих которых был по-настоящему звучным, а язык роскошен и цветист.

Эти поэты были подлинными мастерами своей эпохи. Умиравшая империя кричала их голосом. Вот «Брачный центон» Авзония, вот его многословная и пестрая «Мозелла»; вот гимны Риму Рутилия, анафемы монахам и иудеям, заметки о путешествии из Италии в Галлию, в которых удалось ему выразить ряд тонких мыслей и передать смутное отражение пейзажа в воде, мимолетность облаков, дымчатые венцы горных вершин.

А вот Клавдиан²¹, как бы видоизмененный Лукан. Его громкий поэтический рожок лучше всего слышен в IV столетии. Клавдиан точными ударами выковывает звучные, звонкие гексаметры, вместе с искрами рождая на свет яркие определения, направляя поэзию к звездам, в чем даже достигает определенного величия. В Западной империи все рушится, идет резня, льется кровь, раздаются беспрестанные угрозы варваров, под чьим натиском вот-вот уже рухнут двери, а Клавдиан вспоминает древность, воспекает похищение Прозерпины²² и огнями своей поэзии освещает погруженный во тьму мир.

¹⁹Намациан, Рутилий Клавдий (кон. IV в. – перв. треть V в.) – римский поэт, галл. Автор поэмы «О своем возвращении» («De redito suo»), в котором отразились бурные события тех лет – нашествие готов на Рим.

²⁰Авзоний, Децимус Магний (ок. 310–393) – латинский грамматик, ритор, поэт. В произведении «Мозелла» в эпической форме описан мозельский пейзаж.

²¹Клодиан (Клавдиан, р. ок. 375) – последний из великих латинских поэтов. Уроженец Александрии Египетской, прославлял величие и могущество старого Рима. Автор мифологического эпоса «Похищение Прозерпины».

²²Прозерпина – в римской мифологии дочь богини плодородия Цереры, была похищена богом подземного царства Плутоном.

Язычество еще живо в поэте – в его христианстве различимы последние языческие песни. Но вскоре вся словесность без остатка делается христианской. Это Павлин²³, ученик Авзония; испанский священник Ювенкий, стихами переложивший Евангелие; Викторин со своими «Покойниками»; святой Бурдигалезий, чьи пастухи Эгон и Букул оплакивают заболевшее стадо. И еще целая череда святых: Илэр де Пуатье²⁴, защитник Никейского символа веры, которого нарекли Афанасием Западным; Амвросий, сочинитель трудночитаемых проповедей, своего рода скучный Цицерон во Христе; Дамас²⁵, шлифовальщик эпиграмм; Иероним, переводчик Библии²⁶; противник его, Вигилантий Коммингский, осуждающий почитание святых, излишнюю веру в посты и чудеса, а также выступающий с опровержением безбрачия и celibата духовенства, на которое будут опираться впоследствии многие авторы.

²³Павлин из Нолы, Меропий Понтий (ок. 353–431) – латинский христианский поэт из галло-римской сенатской аристократии. С 393 г. вел аскетическую жизнь, основал монастырь в Ноле, с 409 г. был там епископом. Сохранились его письма и стихотворения, в которых христианское содержание сочеталось с античной формой.

²⁴Илэр де Пуатье (315–367) – христианский святой, епископ Пуатье. Сыграл важную роль в борьбе с арианством на Западе, за что был назван Афанасий Западный по аналогии с Афанасием Великим, боровшимся с арианством на Востоке.

²⁵Дамас (ум. 384) – папа римский, испанец по происхождению. Поручил своему секретарю Жерому выправить латинский перевод Священного писания.

²⁶Имеется в виду Блаженный Иероним Софроний Евсевий (ок. 342–420), автор латинского перевода Библии – Вульгаты. Вначале Иероним по поручению папы Дамаса проверил латинский текст Нового Завета и греческий текст Септуагинты и Псалтыри. Затем перевел с еврейского на латинский язык Ветхий Завет и с греческого Псалтырь.

Наконец, V век, Августин, епископ Гиппонский²⁷. Августин дез Эссент знал как свои пять пальцев, ведь это был самый почитаемый церковью писатель, основатель христианского богословия и, по мнению католиков, самый высокий арбитр и авторитет. Однако дез Эссент уже никогда больше не брал его в руки, несмотря на то что в «Исповеди» воспевается отвращение к земной жизни, а в трактате «О Граде Божиим» этот возвышенный и проникновенный утешитель обещает взамен земных скорбей небесное ликование. Но нет, дез Эссент еще в пору своих занятий богословием уже сполна насытился его увещеваниями и плачем, его учением о предопределении и благодати, его борьбой с расколом.

С большой охотой дез Эссент листал «Psychomachia» Пруденция²⁸, аллегорическую поэму, излюбленное чтение Средневековья. С удовольствием заглядывал он и в Сидония Аполлинария²⁹, ибо любил его письма, которые изобиловали остротами, шутками, загадками, архаическим слогом. Дез Эссент частенько перечитывал его панегирики. Похвала языческим божествам у епископа была вычурной, но дез Эссент питал слабость к позерству, к двусмысленности и вообще к тому, как сей искусный мастер уха-

²⁷Августин Аврелий, епископ Гиппонский (354–430) – основоположник западной патристики. Наиболее важные сочинения – «О Граде Божиим», «Исповедь». Развил учение о благодати и предопределении. Родоначальник философии истории.

²⁸Пруденций, Аврелий Публий Клемент (348 – после 405) – выдающийся христианский латинский поэт. Автор сочинений: «О венцах» (14 гимнов о мучениках за веру); «Апотеосис» («Обожествление») – учение о Св. Троице; «Psychomachia» («Сражение за душу») – первая западноевропейская аллегорическая поэма; «Против Симмаха» – апологетический трактат в двух книгах.

²⁹Сидоний, Соллий Модест Аполлинарий (430 – 480) – христианский латинский поэт. Автор стихов и писем (подражал Плинию Младшему).

живаает за механизмом своей поэзии, то смазывая одни его части, то добавляя или убирая другие.

Кроме Сидония обращался он и к панегиристу Меробальду, а также к Седулию³⁰, автору довольно слабой поэзии и некоторых важных для церковной службы гимнов. Читал дез Эссент и Мария Виктора, сочинившего «Поврежденность нравов», поэтически невнятный трактат, где вспыхивала смыслом то одна, то другая строка. Раскрывал ледяной «Евхаристикон» Павлиния Польского. Не забывал Ориентуса, епископа Аухского, автора «Мониторий», писанных дистихом проклятий в адрес женской распущенности и женской красоты, каковая есть гибель народам.

Дез Эссент страстно любил латынь, хотя и разложилась она вконец, и пошла тленом, и распалась на части, сохранив нетленной разве что самую свою малость. Эта малость уцелела, ибо христианские авторы отcedили ее и поместили в питательную среду нового языка.

Но вот настает вторая половина V века, лихолетье, время мировых потрясений. Галлия сожжена варварами. Рим парализован, разграблен вестготами. Римские окраины, и восточная, и западная, истекают кровью и слабеют с каждым днем.

Мир подвержен распаду. Императоров одного за другим убивают. Кровопролитие. По всей Европе не смолкает шум резни — и вдруг чудовищный конский топот перекрывает вопли и стоны. На берегах Дуная появляются тысячи и тысячи всадников на низкорослых лошадях и в звериных шкурах. Страшные татары с большими головами, плоскими носами и безволосыми желтыми лицами в рубцах и шрамах заволокли южные провинции.

³⁰Седулий (IV в.) — христианский поэт. Написал поэму в 5 книгах — «Пасхальную песнь».

Все исчезло в тучах пыли от конских копыт, в дыму пожаров. Настала тьма. Покоренные народы, содрогаясь, смотрели, как несется с громовым грохотом смерч. В Галлию, опустошив Европу, вторглись орды гуннов, и Аэций³¹ разгромил их на Каталунских полях. Но жестокой была сеча. Поля наводнились кровью и вспенились, как кровавое море. Двести тысяч трупов перегородили гуннам дорогу. И бешеный поток хлынул в сторону, грозой обрушился на Италию. Разоренные итальянские города запылали, как солома.

Западная империя рухнула под ударами; и без того распадалась она от всеобщего слабоумия и разврата и вот теперь навек испустила дух. Казалось, близок конец света. Края, не тронутые Аттилой, опустошили голод и чума. И на руинах мироздания латынь словно погибла.

Шло время. Варварские наречия стали упорядочиваться, крепнуть, складываться в новые языки. Поддерживаемая церковью латынь выжила в монастырях. Порою ею блистали, но вяло и неярко, поэты: Африкан Драконтий с «Гексамероном», Клавдий Маммерт³² с литургическими песнопениями, Авитус Венский³³; мелькали биографы, например Эннодий³⁴ с жизнеописанием святого Епифания³⁵,

³¹Аэций Флавий (ок. 395–453) – римский полководец, в 451 г. руководил военными силами римлян и их союзников-варваров в знаменитой битве на Каталунских полях против войск гуннов под предводительством Аттилы.

³²Маммерт, Клавдий (ум. 474) – ученый, христианский писатель. Известен как богослов, поэт и риторик. Важнейшее сочинение – «Три книги о состоянии души».

³³Авитус Венский (450–518) – епископ Венский, обратился в католичество из арианства бургундского короля Сигизмунда. Писал стихи религиозного содержания.

³⁴Эннодий, Магнус Феликс, святой (473–521) – епископ Павии, поэт, оратор.

³⁵Епифаний святой (438–496) – епископ Павии, сыграл важную роль в политической жизни своего времени.

почтенного, пронизательного дипломата и внимательного доброго пастыря, или Эвгиппий³⁶, с рассказом о святом Северине³⁷, таинственном отшельнике и смиренном аскете, который явился безутешным народам, обезумевшим от страдания и страха, словно ангел милосердия. Наступает черед писателей, подобных Веранию Геводанскому, автору небольшого трактата о воздержании, или Аврелиану с Фарреолом, составителям церковных канонов; и, наконец, историкам, в их числе Ротерий Агдский, автор утраченной «Истории гуннов».

Книг, представляющих позднейшие столетия, было в библиотеке дез Эссента немного. VI век не мог не олицетворять Фортунат³⁸, и в гимны, в ветхие старолатинские мехи которых словно было влито новое пахучее вино церкви, дез Эссент нет-нет да и заглядывал. Помимо Фортуната там еще были Бозций, Григорий Турский³⁹ и Иорнандезий. Далее, VII и VIII века: тут имелось несколько хроник на варварской латыни Фредегера⁴⁰ и Павла Диакона⁴¹ и составленные в алфавитном порядке и построенные на повторении одной и той же рифмы песнопения в честь святого Комгилла, а также сборник Бангора, который дез Эссент изучал время от времени. Но в основном то были

³⁶Эвгиппий (V–VI вв.) – церковный историк.

³⁷Северин (ум. 482) – святой, апостол Норика; возглавил оборону города от германцев.

³⁸Епископ из Пуатье Фортунат Венанций, Гонорис Клементинан (530–600) – епископ Пуатье, латинский христианский поэт. Духовник Родогунды.

³⁹Григорий Турский (538–594) – франкский историк и писатель, с 573 г. епископ Тура. Известны его сочинения о чудесах и «История франков».

⁴⁰Фредегер – предполагаемое имя анонимного автора франкской хроники, составленной в VII в.

⁴¹Павел Диакон – христианский писатель, член Академии Карла Великого (IX в.)

агиографии: слово монаха Ионы о святом Колумбане⁴², повесть о блаженном Кутберте⁴³, составленная Бедой Достопочтенным⁴⁴ по запискам безымянного монаха из Линдисфарна. Дез Эссент от скуки листал их иногда да перечитывал порой фрагменты житий святой Рустикулы и святой Родогунды⁴⁵. Первого сочинитель был Дефенсорий, монах из Лигюже, второго – простодушная и скромная пуатийская монахиня Бодонивия.

Но еще больше влекли дез Эссента англосаксонские латинские сочинения – трудные для понимания творения Адельма, Татвина, Евсевия, потомков Симфозия⁴⁶. Особенно манили его акростихи святого Бонифация – строфы-загадки, разгадка которых содержалась в первых буквах строк.

Писатели последующих эпох дез Эссента уже не так привлекали; к увесистым томам каролингских латинистов, разных Алкуинов⁴⁷ и Эгингардов⁴⁸, он был в общем равнодушен и вполне довольствовался, из всей латыни IX

⁴²Св. Колумбан (543–615) – ирландский монах, проповедник христианства в Западной Европе, в конце V в. покинул Ирландию и основал монастыри в Бургундии, Лангобардском королевстве и т. д.

⁴³Кутберт (637–687) – епископ, монах.

⁴⁴Беда Достопочтенный (ок. 643–735) – англосаксонский ученый-монах, историк, написал богословские комментарии, «Жития Святых», трактаты по хронологии. Самое значительное сочинение – «Церковная история англов».

⁴⁵Св. Родогунда – франкская королева (521–587), основала в 567 г. монастырь в Пуатье.

⁴⁶Симфозий – латинский поэт конца IV в., автор сборника загадок, написанного гекзаметром.

⁴⁷Алкуин, Альбин Флакк (735–804) – англосаксонский ученый, учитель Карла Великого и его главный советник по делам просвещения. Составлял учебники. Аббат церкви Сен-Мартин де Тур.

⁴⁸Эгингард (770–840) – средневековый ученый времен Карла Великого. Написал «Жизнь Карла Великого» на латинском языке.

века, хрониками анонима из монастыря св. Галльса⁴⁹, сочинениями Фрекульфа⁵⁰ да поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббо ле Курбе, и, наконец, дидактическим опусом «Хортулус» бенедиктинца Валафрида Страбо, причем, читая главу, которая воспевала тыкву, символ плодородия, дез Эссент так и покатывался со смеху. Изредка снимал он с полки и поэму Эрмольда Черного⁵¹ о Людовике Благочестивым⁵² – героическую песню с ее правильными гекзаметрами, латинским булатом сурового и мрачного слога, закаленного в монастырской воде и сверкающего иногда искрой чувства. Порой проглядывал «De viribus herbarum»⁵³ Мацера Флорида и воистину наслаждался описанием целебных свойств некоторых трав: к примеру, кирказон, прижатый с ломтем говядины к животу беременной женщины, помогает родить младенца непременно мужеского пола; огуречник лекарственный, если окропить им гостиную комнату, веселит гостей; толченый иссоп навсегда излечивает от эпилепсии; укроп, возложенный на грудь женщине, очищает ее воды и облегчает болезненные регулы.

Латинское собрание на полках дез Эссента доходило до начала X столетия. Исключение составляли: несколько случайных, разрозненных томов; плюс несколько современных изданий по каббале, медицине, ботанике или книги вообще без даты; плюс отдельные тома патрологии

⁴⁹Святой Галльс (532–627) – ирландский монах, сопровождал св. Колумбана в Бургундию и Германию.

⁵⁰Фрекульф (780–850) – автор французских хроник, монах, епископ.

⁵¹Эрмольд Черный (790–838) – аббат Аньена, описал жизнь Людовика Благочестивого (Louis le Pieux) в поэме «Деяния Людовика» («De gestis Ludovici»).

⁵²Людовик Благочестивый (778–840) – франкский император. Сын Карла Великого. Покровительствовал церкви.

⁵³«De viribus herbarum» (лат.) – «О мужах юных».

Миня⁵⁴, а именно сборники редких церковных поэм и антология второстепенных латинских поэтов Вернсдорфа; плюс еще Мерсий, учебник классической эротологии Форберга и устав с диаконалиями для духовников. Время от времени дез Эссент сдувал с них пыль, и только. Его библиотека латинских авторов ограничивалась X веком.

В то время были утрачены и меткость, и некая сложная простота латинского языка. Пошло философское и схоластическое пустословие, пошел отсчет средневековой схоластики. Латынь покрылась копотью хроник, летописей, утяжелилась свинцовым грузом картуляриев и потеряла монашескую робкую грацию, а также порой чарующую неуклюжесть, превратив остатки древней поэзии в подобие благочестивой амброзии. Пришел конец всему: и энергичным глаголам, и благоуханным существительным, и витиеватым, на манер украшений из первобытного скифского золота, прилагательным. Больше в библиотеке дез Эссента старых изданий не было. Скачок времени – и эстафета веков прервалась. В свои права вступил век нынешний, и на полках воцарился современный французский язык.

⁵⁴Патрология – трактат, посвященный жизни, деяниям и доктринам отцов церкви. Аббат Минь (1800–1875) выпустил латинскую патрологию в 308 томах, греко-латинскую патрологию в 168 томах и т. д. (всего 2000 томов *in quatro*).

ГЛАВА IV

Однажды под вечер у фонтенейского дома дез Эссента остановился экипаж. Но поскольку гости к дез Эссенту не навевались, а почтальон, не имея для него ни писем, ни газет, ни журналов, дом обходил стороной, то слуги засомневались, стоит ли открывать. Но дверной колокольчик звонил настойчиво, и старики решились заглянуть в глазок. Увидели они господина, у которого буквально вся грудь, от шеи до пояса, была закрыта большим золотым щитом.

Они пошли доложить хозяину. Дез Эссент обедал.

– Отлично, пусть войдет, – сказал он, вспомнив, что когда-то дал свой адрес ювелиру по поводу одного заказа.

Господин, войдя, поклонился и положил свой щит на пол. Щит шевельнулся, приподнялся, из-под него высунулась змеевидная черепашня головка, испугалась и спряталась обратно.

Черепашу дез Эссенту вздумалось завести накануне отъезда из Парижа. Однажды, разглядывая серебристые переливы ворса на смолисто-желтом и густо-фиолетовом поле восточного ковра, дез Эссент подумал о том, как хорошо смотрелся бы на нем темный движущийся предмет, который бы подчеркивал живость узора.

Загоревшись этой идеей, он без всякого плана вышел на улицу, дошел до Пале-Рояля, но вдруг, пораженный, остановился у витрины магазина Шеве и стукнул себя по

лбу: за стеклом плавала в тазу огромная черепаха. Он тотчас сделал покупку. И позже, положив черепаху на ковер, уселся рядом и долго всматривался в нее.

Нет, решительно, шоколадный, с оттенком сиены панцирь только грязнит расцветку и ничего в ней не подчеркивает. Серебро гаснет и становится шероховатым цинком, когда на его фоне перемещается резко очерченное, темное пятно.

Дез Эссент нервно грыз ногти и размышлял о том, как добиться согласия красок и воспрепятствовать какофонии цвета. В итоге он пришел к заключению, что оживлять расцветку посредством темного предмета – дело совершенно лишнее. Цвета и без того чисты, свежи, яркие, не успели еще ни потускнеть, ни выцвести. Поэтому требуется ровно противоположное: необходимо смягчить тона, сделать их бледнее за счет ослепляющего глаз контраста – золотого сияния и серебристой тусклости. При таком решении задача облегчалась. И дез Эссент решил позолотить черепаший панцирь.

Когда через некоторое время мастер вернул черепаху, она походила на солнце и залила лучами ковер, а серебристое поле, побледнев, заискрилось, как громадный вестготский щит, покрытый в варварском вкусе золотыми змейками.

Поначалу дез Эссент решил, что ничего лучше и быть не может. Но потом понял, что впечатление от гигантского украшения будет полным только тогда, когда в золото будут вставлены драгоценные камни.

Он нашел в японском альбоме рисунок россыпи цветов на тонкой ветке и, отнеся книгу к ювелиру, обвел его в рамку, велел изумленному мастеру выточить лепестки из драгоценных камней, а затем, не меняя рисунка, вставить их в черепаший панцирь.

Оставалось произвести выбор камней. Бриллиант опошлится с тех пор, как им стали украшать свой мизинец торговцы; восточные изумруды и рубины подходят больше – пылают, как пламя, да вот только похожи они на примелькавшиеся всем зеленые и красные омнибусные огни; а топазы, простые ли, дымчатые ли, – дешевка, радость обывателя, хранятся в ящичках всех платяных шкафов; аметист как был, так благодаря церкви и остался епископским камнем – густ, серьезен, однако и он опошлится на мясистых мочках и жирных пальцах лавочниц, жаждущих задешево увеситься драгоценностями; и только сапфир, один-единственный, уберег свой синий блеск от дельцов и толстосумов. Токи его вод ясны и прохладны, он скромн и возвышенно благороден, как бы недоступен грязи. Но зажгутся лампы – и, увы, прохладное сапфировое пламя гаснет, синяя вода уходит вглубь, засыпает и просыпается лишь с первыми проблесками рассвета.

Нет, не годился ни один из камней. Все они были слишком окультурены, слишком известны. Дез Эссент покрутил в пальцах то один, то другой редкий минерал и отобрал несколько натуральных и искусственных камней, которые, собранные вместе, одновременно и околдовывали, и тревожили.

Букет он в результате составил следующим образом: на листья пошли сильные и четкие зеленые – ярко-зеленый хризоберилл, зеленоватый перидот и оливковый оливин, на веточки же, по контрасту, – гранаты: альмандин и фиолетово-красный уваровит, блестящий сухо, как налет в винных бочках.

Для цветков, расположенных далеко от главного стебля, дез Эссент выбрал пепельно-голубые тона. Восточную бирюзу он, однако, отверг, потому что в бирюзовых кольцах и брошках, вперемежку с банальным жемчугом и кош-

марными кораллами, любит красоваться простонародье. Бирюзу он взял западную, то есть, по сути дела, окаменевшую слоновую кость с примесью меди, а также голубизны зеленеющей, грязноватой, мутной и сернистой, словно с желчью.

Цветы и лепестки в центре букета дез Эссент решил сделать из прозрачных минералов с блеском стеклянистым, болезненным, с дрожью резкой, горячечной.

Это были цейлонский кошачий глаз, цимофан и сапфирин.

От них и вправду исходило какое-то таинственное, порочное свечение, словно через силу вырывавшееся из ледяных и безжизненных глубин драгоценных камней.

Кошачий глаз, зеленовато-серый, с концентрическими кругами, которые то расширялись, то сужались в зависимости от освещения.

Цимофан с лазурной волной, которая где-то в даях переходит в молочную белизну.

Сапфирин, фосфорной голубизны огоньки в шоколадно-коричневой гуще.

Ювелир делал на бумаге пометки. «А края панциря?» – спросил он дез Эссента.

Края панциря дез Эссент хотел было уложить опалами и гидрофанами: очень уж хороши они были неверностью блеска, зыбкостью тонов и мутью огней, однако же слишком обманчивы и капризны. Опал, так тот сродни ревматика, и блеск его зависит от погоды, а гидрофан сияет только в воде, намочишь его – лишь тогда и разгорится его серое пламя.

Для окантовки дез Эссент выбрал камни так, чтобы их цвета чередовались: мексиканский красно-коричневый гиацинт – сине-зеленый аквамарин – винно-розовая шпинель – красновато-рыжеватый индонезийский рубин. Бли-

ки по краям бросали отсвет на темный панцирь, но затмевались центральными огнями букета, которые в гирлянде из скромных боковых огоньков сияли еще более пышно.

И вот теперь, замерев в углу, в полумраке столовой, черепаха засверкала всеми цветами радуги.

Дез Эссент чувствовал себя совершенно счастливым. Он упивался этим разноцветным пламенем, поднимавшимся с золотого поля. Ему даже, вопреки обыкновению, захотелось есть, и он макал душистые гренки с маслом в чай – превосходную смесь «Ши-а-Фаюн» и «Мо-ю-тан», куда были добавлены листья ханского и желтого сортов. Их доставляли из русского Китая особые караваны.

Как теперь, так и раньше он пил этот горячий нектар из настоящего китайского фарфора под названием «яичная скорлупа» – действительно как скорлупа, прозрачных и тонких чашек. Ел дез Эссент только позолоченными серебряными ложками и вилками. Позолота, правда, местами сошла, и из-под нее проглядывало серебро, но от этого приборы казались по-старинному ненавязчивыми и на ощупь мягкими и приятными.

Допив чай, дез Эссент вернулся к себе в кабинет и велел принести черепаху, которая упорно не желала ползать.

Шел снег и в свете ламп, как трава, стелился за голубоватыми стеклами, а иней, подобно сахару, таял в бутылочно-зеленых, с золотистой крапинкой, квадратах окна.

В доме царили тишина, покой и мрак.

Дез Эссент погрузился в мечты. От камина волнами шел жар и наполнял комнату. Дез Эссент приоткрыл окно.

Небо стало словно оборотной стороной горностаевой шкуры – на этом черном геральдическом ложе белели пятнышки снега.

Налетел ледяной ветер, закружил снежинки и спутал узор.

Геральдический горноста́й обрел свое обычное лицо и стал белым, и на нем проступили черные пятнышки ночи.

Дез Эссент закрыл окно. После каминного жара холод был резким и пронизывающим. Съежившись, дез Эссент подсел к огню. Чтобы согреться, ему захотелось что-нибудь выпить.

Он прошел в столовую и открыл шкаф-поставец. Там на крошечных сандаловых подставках выстроился ряд бо-чонков с серебряными краниками.

Называл он эту ликерную батарею своим «губным органом».

Особая соединительная трубка позволяла пользоваться всеми кранами одновременно. Стоило нажать некую незримую кнопку – и скрытые под кранами стаканчики дружно наполнялись.

И тогда «орган» оживал. Выступали клапаны с надписью «флейта», «рог», «челеста». Можно было приступить к делу. Дез Эссент брал на язык каплю напитка и, как бы исполняя внутреннюю симфонию, добивался тождества между вкусовым и звуковым ощущением!

Дело в том, что, по мнению дез Эссента, все напитки вторят звучанию определенного инструмента. Сухой кюрасао, к примеру, походит на бархатистый суховатый кларнет. Кюммель отдает гнусавостью гобоя. Мятный и анисовый ликеры подобны флейте – и острые, и сладкие, и резкие, и мягкие; а вот, скажем, вишневка неистова, как труба. Джин и виски пронзают, как тромбон и корнет-а-пистон. Виноградная водка кажется оглушительной трубой, а хиосское раки и прочая огненная вода – это кимвалы и бой барабанный!

Дез Эссент считал, что аналогию можно было бы расширить и создать для услады дегустатора струнный квартет: во-первых, скрипка – все равно что добрая старая

водка, крепкая, но изысканная; во-вторых, альт и ром – одинаковы по тембру и густоте звука; в-третьих, анисовая крепкая настойка – настоящая виолончель, то душераздирающая и пронзительная, то нежная и тихая; и, наконец, в-четвертых, чистая старая можжевелька – столь же полновесна и солидна, как контрабас. Если же кто-то пожелает квинтет, то для этого потребуется еще и арфа – дрожь серебристо-хрупкого стакато перцовки.

На этом аналогия не заканчивалась. Диапазон мелодии возлияния знал и свои оттенки. Достаточно было вспомнить, что бенедиктин – это минор в мажоре напитков, которые в винных картах-партитурах снабжены пометой «шартрез зеленый».

Познав все это, дез Эссент, благодаря долгим упражнениям, сделал свое небо местом исполнения беззвучных мелодий – похоронных маршей, соло мяты или дуэта рома с анисовкой.

Переложил он на винный язык даже знаменитые музыкальные сочинения, которые были неразлучны со своим автором и посредством сходства или отличия искусно приготовленных коктейлей передавали его мысли во всех их отличительных особенностях.

Иной раз он и сам сочинял музыку. Черносмородинной наливкой исполнил с соловьиным посвистом и шелканием пастораль, а сладким шоколадным ликером спел знаменитые в прошлом романсы «Песня Эстеллы» и «Ах, матушка, узнай».

Однако в этот вечер дез Эссенту не хотелось музицировать. И он извлек из органчика лишь одну ноту, взяв бокальчик, предварительно наполненный ирландским виски.

Он снова сел в кресло и стал смаковать свой овсяно-ячменный сок с горьковатым дымком креозота.

Знакомые вкус и запах пробудили воспоминание, давным-давно забытое. Подобно Фениксу, это впечатление возникло из небытия и вызвало то же самое ощущение, какое было у него во рту, когда — давно уже — хаживал он к зубным врачам.

Дез Эссент вспомнил всех когда-либо виденных им дантистов, но, понемногу сосредоточившись, начал размышлять об одном из них, которого, благодаря давнему невероятному случаю, запомнил особенно.

Было это три года назад. Однажды ночью у него нестерпимо разболелся зуб. От боли дез Эссент чуть не сошел с ума, бегал из угла в угол, делал примочки.

Но зуб уже был запломбирован, и домашние средства здесь негодились. Помочь мог только врач. Дез Эссент в нетерпении ждал утра, решившись на любое лечение, лишь бы прекратилась боль.

Держась за щеку, он раздумывал, как поступить. Все известные ему дантисты — богатые люди, дельцы, с которыми не так-то просто иметь дело. Записываться к ним на прием нужно заранее. Но это невозможно, ждать я не в силах, думал он. И решил пойти к первому попавшемуся зубодеру, к одному из тех эскулапов с козьей ножкой, которые, может, и не мастера лечить кариес и заделывать дырки, но зато вырвут самый упрямый зуб в мгновение ока. Они берутся за дело ни свет ни заря, и прийти к ним можно без записи. Наконец пробило семь. Он выбежал из дома и, вспомнив об одном таком коновале и «народном целителе», который обитал на набережной, помчался по улице, кусая носовой платок и сдерживая слезы.

Дом целителя было легко узнать по огромной черной вывеске с желтыми буквами «Доктор Гатонакс» и двум витринам, в которых были выставлены челюсти — розовые восковые десны с латунными крючками и фарфоровыми

зубами. Дез Эссент добежал до дверей и весь в поту, задыхаясь, остановился, чудовищный страх охватил его, мороз пробежал по коже – и зуб перестал болеть.

Дез Эссент замер перед входом как истукан. Наконец он пересилил тревогу, вошел в темный подъезд и бросился по лестнице через несколько ступенек. На четвертом этаже на эмалированной табличке небесно-голубыми буквами была выведена та же фамилия, что и на вывеске. Дез Эссент позвонил, но, увидев на ступеньках кровавые плевки, изменил свое решение и собрался было дать деру, рассудив, что готов терпеть боль до гробовой доски. Но тут, пригвоздив его к месту, из-за двери раздался слышный на всех этажах душераздирающий вопль, дверь раскрылась, и какая-то старуха попросила дез Эссента войти.

Дез Эссент овладел собой и был проведен в столовую. Открылась еще одна дверь, вышел могучий, как дуб, детина в рединготе и черных брюках и провел дез Эссента в соседнюю комнату.

Остальное дез Эссенту помнилось плохо. Кажется, он сел в кресло лицом к окну и, ткнув пальцем в сторону больного зуба, пробормотал: «Тут уже есть пломба... лечить, наверное, бесполезно».

Детина остановил его объяснения, сунув ему в рот свой толстый указательный палец. Затем, чертыхаясь в усы, закрученные кверху и нафабранные, взял со стола какой-то инструмент.

И действие началось. Дез Эссент, вцепившись в ручки кресла, почувствовал на десне что-то холодное, и вдруг от дикой боли искры посыпались у него из глаз. Он забил ногами и стал блеять, как овца при заклании.

Раздался треск. Зуб поддался и раскололся. Дез Эссенту почудилось, что ему отрывают голову и у него в черепе треснуло. Он обезумел от боли, закричал не своим голо-

сом и попытался отпихнуть мучителя, но тот снова запустил ему руку в рот, точно хотел добраться до кишок, а затем резко отпрянул и, приподняв дез Эссента за челюсть в воздух, с силой опустил обратно в кресло. И остался стоять на фоне окна, держа в руке щипцы и дуя на зажатый в них синеватый, со свисавшей красной каплей зуб!

Едва живой, дез Эссент до краев залил кровью плевательницу и жестом остановил старуху, которая собиралась завернуть зуб в газетку и дать дез Эссенту на память. Отвергнув дар, он заплатил два франка, опрометью кинулся вниз по лестнице и, оставляя кровавые плевки на ступенях, выскочил на улицу, неожиданно почувствовав, что полон счастья, помолодел на десять лет и все ему на свете интересно.

— Уф! — выдохнул дез Эссент под напором воспоминаний. Он встал с кресла, чтобы это видение, и притягательное, и отталкивающее, вконец рассеялось, и, полностью придя в себя, с беспокойством подумал о черепахе.

Та по-прежнему не двигалась. Он коснулся ее. Черепаха была мертва. Видимо, привыкнув к тихому, скромному существованию в убогом панцире, она не вынесла навязанной ей кричащей роскоши, нового облачения и драгоценных камней, украсивших ее спину, как дароносицу.

ГЛАВА V

По мере того как крепло в нем стремление к побегу и освобождению от мира ничего не выражающих физиономий, он ощутил, что не способен больше воспринимать живопись, изображавшую это общество – парижан, то сидящих за работой в четырех стенах, то спящих по городу в поисках денег.

Утратив интерес к современным художникам, он тем не менее решил, что не станет сверх меры ни презирать их, ни жалеть, обзаведется картинами изящными, тонкими, по-старинному поэтичными, по-эллинически демоническими – полотнами совершенно не связанными с временами и нравами.

Ему хотелось, чтобы живопись говорила и уму, и сердцу и, перенося в неведомый мир, стирала все следы новейших идей и увлечений – приводила в трепет его нервы вязью своих фантазмагорий и переливами то чарующих душу, то ввергающих в ужас миражей. Из художников дез Эссент больше всего восхищался Гюставом Моро¹. Он купил две его картины и ночи напролет простаивал у одной из них, «Саломей»². Вот ее содержание.

¹Моро, Гюстав (1826–1898) – французский художник-символист. Использовал мифологические и библейские сюжеты.

²Саломея – дочь Иродиады, бывшей в незаконном сожителстве с Иродом Антипой. За прекрасный танец потребовала голову Иоанна Крестителя (Мф. 14, 6; Мк. 6, 22). Популярный сюжет искусства конца XIX в. (картина Г. Моро, Флобер, «Иродиада», Малларме, «Иродиада», О. Уайльд, «Саломея» и т. д).

Под сводами дворца, которые несли на себе мощные, как в романском соборе, колонны, располагался жертвенник, походивший на церковный престол. Колонны были выложены мозаикой, покрыты цветной глазурью, украшены лазуритом и сардониксом. Сам же дворец одновременно походил и на мечеть, и на византийскую базилику.

Полукруглые ступени поднимались к трону, где, сомкнув колени и положив на них руки, восседал в тиаре тетрарх Ирод.

Его пергаментно-желтый и дряхлый лик был изборожден морщинами. Длинная борода, подобно облаку на звездном небе, белела на парче, усыпанной бриллиантами.

Сидел он неподвижно, в священной позе индуистского божества. Вокруг дымились благовония, в клубах фимиама поблескивали глаза зверей и драгоценные камни трона; дымок поднимался, таял под аркадами и голубел, смешиваясь под сводами с золотыми солнечными лучами.

Воздух храма напоен благовониями, перегрет, до одури сладок. И вот Саломея, властно подняв левую руку и поднеся к лицу правую, с большим лотосом, ступает медленно и плавно, а какая-то женская фигура, сидя поодаль, подыгрывает ей на гитаре.

Саломея сосредоточенна, торжественна, почти царственна. Начинает она похотливый танец, который должен воспламенить дряхлого Ирода. Ее груди волнуются, от бьющих по ним ожерелий твердеют соски. На влажной коже блещут алмазы. Сверкает все: пояс, перстни, браслеты. Платье шито жемчугом, золотом, серебром — настоящая ювелирная кольчуга, что ни петелька — камушек. Кольчуга вспыхивает, струится огненными змейками, плавится на матовой плоти и розовой коже и походит на жука с переливчатыми красно-желто-лазурно-зелеными крылышками.

Саломея смотрит сосредоточенно-пронзительно, как лунатик, и не видит ни затрепетавшего Ирода, ни свирепой своей родительницы, Иродиады, которая не сводит с дочери глаз, ни гермафродита или, может, евнуха, стоящего с мечом у подножия трона – безобразной фигуры, закутанной до глаз, с обвисшей грудью кастрата под оранжевой туникой.

Образ Саломеи, столь впечатлявший художников и поэтов, уже много лет не давал дез Эссенту покоя. То и дело открывал он старую, издания Пьера Варике, Библию в переводе докторов богословия Левенского университета и, перечитывая в Евангелии от Матфея простой и безыскусный рассказ об усекновении главы Иоанна Крестителя, размышлял о прочитанном:

«Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду.

Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.

Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.

И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей.

И послал отсечь Иоанну голову в темнице.

И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей».

Но ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн ни словом не обмолвились о безумном и порочном ее обаянии. И осталась она непонятой, таинственно, неясно проступая сквозь туман столетий, – была малоинтересной обычным, приземленным людям, но волновала обостренное восприятие невротиков. Не получалась она у поэтов плоти, к примеру у Рубенса, который изобразил ее своего рода фландрской мясничихой, и оказалась неразгаданной писа-

телями, проглядевшими и завораживающий жар плясуньи, и утонченное достоинство преступницы.

И вот наконец Гюстав Моро пренебрег евангельским рассказом и представил Саломею в том самом сверхъестественном и необычном виде, в каком она рисовалась дез Эссенту. Нет, это не лицедейка, которая танцем бедер, груди, ляжек, живота заставляет старца исходить от животной страсти и подчиняет его себе. Это уже божество, богиня вечного исступления, вечного сладострастия. Это красавица, каталептический излом тела которой несет в себе проклятие и колдовскую притягательность, — это бездушное, безумное, бесчувственное чудовище, подобно троянской Елене, несущее погибель всякому, кто ее коснется.

Увиденная именно таким образом, Саломея принадлежала уже преданиям Древнего Востока и обособлялась от евангельского образа. Вряд ли ее можно было уподобить великой вавилонской блуднице из Апокалипсиса, хотя и была она так же разряжена, украшена, нарумянена, ибо не силою рока, не по воле небес окунулась Саломея в мерзость разврата.

Впрочем, художник, словно намереваясь подняться над эпохой, не обозначает точно ни места, ни времени действия. Архитектура дворца, где танцует она, величественна, но не принадлежит никакому конкретному стилю, платье на ней — роскошный, но бесформенный хитон, волосы уложены в виде финикийской башни, как у Саламбо, а в руках священный у египтян и индусов цветок лотоса и скипетр Исиды.

Дез Эссент все пытался понять символический смысл цветка. Являлся ли лотос фаллическим, как в индуизме, символом? Или был для Ирода жертвоприношением девственности, кровью за кровь, раной за убийство? А мо-

жет, являлся аллегорией плодородия, индуистским образом полноты бытия, или олицетворял цветок жизни, вырванный из рук женщины жадными руками самца, обезумевшего от страсти?

Или, может быть, художник, вручив богине священный цветок, имел в виду смертную женщину и сосуд нечистоты, от которого пошли грех и беззаконие? Или даже вспомнил об обычаях древних египтян и их погребальном обряде: жрецы и посвященные в тайны бальзамирования кладут тело на скамью из яшмы, крючками извлекают мозг через ноздри, а внутренности — из надреза в левом боку; затем они умащают мертвеца смолами и душистыми снадобьями, золотят ногти и зубы, но прежде кладут в гениталии, чтобы очистить покойника, воплощающие целомудрые лепестки лотоса.

Как бы там ни было, но картина будила очарование, полное непонятной тревоги. В еще большую тревогу и трепет приводило дез Эссента ни с чем не сравнимое «Откровение».

На этой акварели был изображен дворец Ирода, похожий на Альгамбру. Колонны с узорчатой мавританской мозаикой, словно вкрапленной в серебро и золото, подпирали свод. Орнамент из ромбов чередовался с арабесками, кружил под куполом, радугой перебежал по перламутру стен и многоцветью окон.

Злодейство свершилось. Теперь палач стоит безучастно, сложив руки на эфесе залитого кровью меча.

Голова Предтечи возносится с блюда, покоящегося на плитах пола. Глаза тусклы, лицо побелело, рот приоткрыт и безжизнен, шея в багровых каплях крови. Вокруг головы — мозаичный нимб. Он озаряет своды, бросает отсвет на жуткое вознесение, и, словно прикованный к плясунье, остекленевший взгляд вспыхивает.

Саломея взмахом руки как бы отгоняет видение, но оно заворожило ее, и плясунья застыла – зрачки расширены, рука инстинктивно поднята.

Саломея полуобнажена. В порыве танца завеса ее одежд разошлась и пала. Браслеты да бриллианты – все ее платье. Шейное кольцо, ожерелья, корсаж, бриллиантовый аграф на груди, пояс на бедрах, огромная тяжелая, не знающая покоя подвеска, покрытая рубинами и изумрудами, и, наконец, между ожерельем и поясом обнаженная плоть – выпуклый живот и, словно оникс, с молочным и жемчужно-розовым отливом пупок.

Сияние от главы Предтечи высветило все грани драгоценностей Саломеи. Камни ожили и, вдохнув свет в женское тело, зажгли его. Шея, руки, ноги сыпят искрами, то красными, как угольки, и сиреневыми, как пламя газовой горелки, то голубыми, как вспыхнувший спирт, и белыми, как звезды.

Страшная голова вся в крови, пурпурные капли свисают с браны и волос. Она видима одной Саломее. Суровый взгляд не замечает Иродиаду. Та же упивается мстостью. Тетрарх, не убирая руки с колен и чуть подавшись вперед, все еще задыхается, обезумев от женской наготы, которая излучает хищные и пряные запахи, сладость ароматических смол, душистость масел и ладана.

Как и старика Ирода, плясунья ввергла дез Эссента в безумие, иступление и трепет. На акварели она была не столь величественна и царственна, зато волновала куда больше.

В существе бездушном и безрассудном, под маской одновременно и невинной, и коварной вспыхнули живые страх и эрос. Не стало лотоса, ушла богиня. Явилась на смерть испуганная лицедейка, возбужденная танцем плясунья, оцепеневшая от ужаса блудница.

На акварели Саломея предстала более чем реальной — созданием горячим и жестоким; и была ее жизнь по-особому и грубой, и тонкой, как возвышенной, так и низкой, чем и пробудила она чувства старца, покорив волю его и опьянив, точно цветок любви, взошедший на земле похоти в садах святотатства.

Дез Эссент не сомневался, что художнику удалось невозможное. Простой акварелью добился он неповторимого сочетания красок и в точности передал блеск самоцветов, сияние пронизанных солнцем витражей, ослепительную роскошь тела и ткани.

Смотрел дез Эссент и не мог понять, откуда в современном Париже появился этот гений, этот мистически настроенный язычник и ясновидец, способный, не считаясь ни с какими нормами и принципами, воспроизвести тревожащие душу образы прошлого, блеск и величие былых времен.

Преемственные связи Моро дез Эссентом улавливались с трудом. Кое в чем смутный след Мантеньи³ и Барбары⁴. Местами неявное присутствие Леонардо, где-то напор цвета в духе Делакруа. Однако его точную родословную не определить, Моро ни с кем не был связан. Ни предшественников, ни, быть может, последователей не имел он и оставался в современном искусстве в полном одиночестве. Моро приник к самым истокам этнографии и мифологии, прояснил множество кровавых загадок и дал ответ на них, нашел общее в тех бесчисленных сказаниях Древнего Востока, которые другие культуры усвоили и сделали своими. Тем самым он оправдал и пожар своих

³Мантенья, Андреа (1431–1506) — итальянский художник эпохи Возрождения.

⁴Якопо де Барбары по прозвищу Франциск Вавилонский — живописец и гравер XVI в. К числу самых известных его произведений принадлежат «Тритон и сирена», «Святой Иероним».

композиций, и внезапные переливы волшебных красок, и зловещие аллегории на темы из священной истории, словно оживавшие под его всепроникающим и нервическим взглядом. В чем-то Гюстав Моро так навсегда и остался больным, неотступно и мучительно преследуемым темными символами, противоестественными страстями, немислимыми пороками.

В картинах Моро, пессимиста и эрудита, был странный, колдовской шарм. Они именно околдовывали, пробирали до мозга костей, как иные стихи Бодлера. И вы застывали в изумлении, задумчивости, замешательстве под впечатлением искусства, в котором живописец вышел за пределы возможного, взяв у писателей точность сравнения, у Лимозена⁵ – яркость красок, а у ювелиров и гравиров – совершенство отделки. Этими обеими Саломеями дез Эссент восхищался бесконечно. Они постоянно были у него перед глазами. Он повесил их у себя в кабинете, отдавая им особое место на стене между книжными полками.

Однако, обставляя и украшая свое убежище, дез Эссент на этом не остановился.

И хотя второй – он же и верхний – этаж дез Эссент целиком отвел слугам, оставался еще весь первый для того, чтобы развесить картины.

Первый этаж был устроен следующим образом.

На одной стороне дома располагались четыре комнаты: туалетная – спальня – библиотека – столовая; туалетная комната и столовая оказались угловыми.

Комнаты шли в один ряд и окнами выходили на Онэйскую долину.

⁵*Лимозены – семейство французских мастеров по эмали в XVI в., происходили из Лиможа. Наиболее известен Леонар I (ок. 1505 – ок. 1577), который прославился сериями «Двенадцать апостолов», «Жизнь Христа», «Психея» и портретами современников. Всего Леонар создал около 1840 эмалей.*

На другой стороне одна за другой шли также четыре комнаты: кухня – просторная прихожая – небольшая гостиная – уборная с ванной. Находились они напротив, соответственно, столовой – библиотеки – спальни – туалетной. И кухня, и ванная комната, следовательно, тоже были угловыми.

Окна комнат выходили по эту сторону на Шатийон и башню Круа.

Что касается лестницы, то ее пристроили снаружи, с торца дома, и шаги слуг по ступенькам едва доносились до дез Эссента.

Гостиную он обил ярко-красным штофом, а на черных эбеновых панелях развесил гравюры Яна Луикена, старого голландского мастера, во Франции почти неизвестного.

Луикен был по-своеобразному мрачен, жесток, ядовит. У дез Эссента висела серия его «Преследований за веру». На гравюрах изображались все виды пыток, мыслимых и немыслимых, придуманных служителями церкви. То была картина людской муки: обугленные тела, пробитые гвоздями, распиленные черепа, клубки кишок, вырванные клещами ногти, отрубленные руки и ноги, выколотые глаза, вырезанные веки, кости, лезвием вскрытые и зачищенные.

Фантазия художника разгулялась: пахло горелым мясом, капала кровь, раздавались вопли и проклятья – и дез Эссент в своем красном будуаре с трудом переводил дух и дрожал от ужаса.

Да, потрясение и дрожь от гравюр были настоящими, как неподдельны были и талант гравера – его персонажи отличались особой жизненностью, – и мастерство в изображении множества тел, лиц, рук, ног. Луикен напоминал Калло⁶, которого даже превосходил графической силой своих фантазий. Удалось ему вместе с тем нечто дру-

⁶Калло, Жак (1592–1635) – французский гравер.

гое – удивительное проникновение в среду и эпоху. В туалетах, нравах, архитектуре времен Пляски Смерти узнаются и гонения на христиан в Риме, и папская инквизиция, и французское Средневековье, и Варфоломеевская ночь, и драгоннады. Отображалось все это самым точным, самым тщательным образом.

Гравюры были подлинным источником знания. Разглядывать их можно было, не уставая, часами. Они давали пищу для размышлений, помогали коротать время, когда не хотелось читать.

Обстоятельства жизни Луикена также влекли к себе дез Эссента и вдобавок помогали понять создаваемые им образы. Фанатик-кальвинист и ревностный молитвенник, он и сочинял духовные стихи, снабжая их собственными рисунками, и на стихотворный лад перелагал псалмы, и, жадно читая Библию, приходил в экстаз, бредил кровавыми видениями, распевал полные гнева и ужаса протестантские песни, хулил пап.

К тому же он не любил мира, раздал свое имущество бедным и питался одним хлебом. В конце концов он снялся с места и вместе со старухой служанкой, которой внушил столь же ревностную веру, отправился куда глаза глядят. И всюду проповедовал Евангелие, перестал вкушать пищу, стал юродивым, едва ли не дикарем.

В соседнюю с гостиной просторную прихожую, которую украшали панели из коричневатого кедра, дез Эссент поместил не менее причудливую живопись.

Гравюра Бредена⁷ «Комедия смерти» являла собой фантастический пейзаж. Кусты и стволы деревьев походили на леших и демонов, на ветках сидели птицы с крысиными головами и хвостами, похожими на морковь; земля

⁷*Бреден, Родольф (1825–1885) – французский художник, гравер, писал также офорты и литографии.*

была усеяна костями, ребрами, черепами; к ним тянули свои ветви старые кривые ивы, подле которых скелеты в венках пели гимн о торжестве тлена; высоко в небе в мелких облаках уходил вдаль Христос; в глубине грота, обхватив голову руками, понурившись, сидел отшельник, а какой-то несчастный, обессиленный от голода и лишений, умирал у озера, упав навзничь у самой кромки воды.

Была там еще одна литография Бредена – «Добрый самарянин»: невообразимое – вопреки всякому представлению о сторонах света и климате – нагромождение пальм, рябин, дубов, непролазная чаща с обезьянами, совами, филинами, а также причудливые, как корень мандрагоры, пни и высоченное дерево. В его просветах различимы верблюд, два человека, самарянин и некто, израненный разбойниками, за ними река, за рекой, на горизонте, волшебный град, над которым простиралось странного вида небо, испещренное точками птиц и рябью то ли волн, то ли облаков.

В чем-то художник напоминал средневекового примитивиста, в чем-то Альбрехта Дюрера или курильщика опиума. И дез Эссенту была по душе эта картина, нравилось, что подробны детали, что разнообразен и впечатляющ общий вид. И все же чаще останавливался он у соседних полотен.

Они были подписаны именем Одилона Редона⁶. В позолоченных рамках из простого грушевого дерева возникало самое невероятное: голова в мерovingском стиле, выглядывающая из кубка; бородач, полужрец-полуритор, с пальцем на громадном пушечном ядре; мерзкий паук, и в брюхе

⁶Редон, Одилон (1840–1916) – французский художник-символист, вдохновлявшийся как рассказами Эдгара По, флюберовским «Искушением св. Антония», так и романом Гюисманса о дез Эссенте.

у него человеческое лицо. А вот рисунки – словно и вовсе бред сумасшедшего. К примеру, одна из огромных игральных костей с выведенным на ней грустным человеческим глазом; или мертвый пейзаж – потрескавшаяся земля, выжженное поле, вулкан, от которого ввысь устремляются облака пара, бледное застывшее небо; или кошмарное видение, навеянное не то чтением научных фолиантов, не то визионерским проникновением в доисторическое прошлое; или чудовищная растительность на скалах; а порой – средоточие валунов, глыб льда и людей с обезьяноподобными лицами, с резким выступом челюстной кости и надбровных дуг, скошенным лбом и плоским черепом человека начала четвертичного периода – плотоядного и бессловесного современника мамонтов, гигантских носорогов и медведей. Эти образы были ни на что не похожи. Они не вписывались в рамки изобразительного искусства, создавали совершенно особую фантастическую реальность – мир горячки и бреда.

Изображения совершенно безумных глаз вместо лиц, а также тел, теряющих привычные очертания, словно они были увидены сквозь графин с водой, напоминали дез Эссенту о ночных кошмарах, которые видел он, лежа в бреду, когда в детстве болел брюшным тифом.

Дез Эссента охватывало странное волнение. Сходное переживание вызывали у него некоторые из «Пословиц» Гойи или рассказов Эдгара По, галлюцинации и кошмары которого Редон как бы сделал своими.

Дез Эссент не верил своим глазам: о чудо, горячка и буйство красок отступали, и среди скал в кольце солнечного света беззвучно являлась сумрачная и скорбная Меланхолия!

Но вот, словно по волшебству, скорбь уступала место неземной грусти и томной печали. Дез Эссент не мог ото-

рвать взгляд от невесомой и призрачной зелени мягкого карандаша и гуаши, наложенной на беспросветный мрак гравюры.

Итак, Редоном дез Эссент занял почти всю прихожую, а в спальне повесил беспорядочный набросок Теотокопулоса⁹ – Христа, написанного странно, в болезненном вдохновении – с использованием гипертрофии цвета и энергичных мазков, в той манере, когда художник был одержим желанием не походить более на Тициана.

Живопись, где зловеще доминировала маслянисто-черная и густо-зеленоватая палитра, вполне отвечала планам дез Эссента относительно обстановки спальни.

Обустроить же ее, по мнению дез Эссента, можно было только двумя способами: либо превратить в альков, место ночных усад, либо – в келью, уединенное пристанище для дум и покоя.

В первом случае людям утонченным, возбудимым и быстро утомляющимся лучше всего подходит стиль рококо: XVIII век окружил женщину атмосферой неги, передав грациозность дам в линиях мебели – дрожь и истому блаженства повторив в узорах резьбы по дереву и меди, сладость блондинки подправив убранством точным и ясным, а пряность брюнетки смягчив лакричными, водянистыми и даже тягучими тонами ковров.

Именно так в своей парижской квартире он некогда устроил спальню, куда для особой остроты ощущений поместил громадную, вдобавок белую, лакированную кровать: старый развратник как бы издевается, поднимая на смех ложноневинных и мнимо-стыдливых грезовских недотрог, а также иронизируя по поводу якобы чистоты подростковой и девичьей постельки.

⁹*Теотокопулос – настоящая фамилия испанского художника Эль Греко (1541–1614).*

Ну а если спальня приют отшельника – а именно такой хотел сделать ее дез Эссент, порвав с опротивевшим ему прошлым, – то и обставить ее следовало в отшельническом духе. Это, однако, было непросто, потому что дез Эссент не собирался превращать комнату в монашески уютную молельню.

Всесторонне все обдумав, он решил, что для достижения цели необходимо предпринять следующее: во-первых, грустную мебель украсить легкомысленными безделушками, то есть сообщить комнате, которая убрана сурово и однообразно, легкую печать излишества и мягкости, и, во-вторых, повторить театральный эффект, когда лохмотья на сцене выглядят как роскошное облачение, только устроить этот эффект от противного, то есть добиться, чтобы изысканные одежды походили на лохмотья. Иначе говоря, придать вид картезианской кельи отнюдь не келье.

Сделал он вот что: дабы подделать спальню под заурядное церковное помещение с крашенными желтой охрой стенами и коричневыми цоколями и плитусами, он покрыл стены шафранным шелком, а снизу обил их темноватыми фиолетовыми панелями из амарантового дерева. Получилось неплохо: комната – издали, разумеется, – и впрямь напоминала монастырский покой. Потолок затянули чисто-белым шелком а-ля побелка, однако ее белизна вышла умеренной. Пол же удалось сделать похожим на монастырский, благодаря ковру в красную клетку – нарочито тусклую, чтобы ковер казался потертым.

Наконец, дез Эссент поставил в спальню узкое железное ложе, лжеодр кеновита. Было оно выковано и покрыто эмалью в допотопные времена, а на его спинках красовался орнамент с тюльпанами и виноградными листьями, как на лестничных перилах в старинных особняках.

В качестве ночного столика дез Эссент использовал старую скамеечку для молитвы, причем на нижней перекладине нашлось место для ночной вазы, а сверху — для молитвенника. У стены напротив он установил скамью для церковнослужителей с резной спинкой и ажурным навесом, а в подсвечники вставил свечи из настоящего церковного воска, потому что терпеть не мог стеариновые свечи, газовые и керосиновые лампы, сланцевые светильники — словом, современные осветительные приборы, слишком яркие и резкие.

И под утро, положив голову на подушку, он на сон грядущий любовался своим Теотокопулосом, а также наблюдал за тем, как мрачные и жесткие тона делают нейтральной, умиряют кричаще-желтую расцветку драпировок, и воображал, будто находится за сотни лье от Парижа, вдали от мира, в самой тесной келье какой-то обители.

Рисовалось это ему без труда, потому что он вел жизнь в чем-то почти монашескую. Так что положительными сторонами всякого затворничества он воспользовался, а отрицательными — строгим подчинением настоятелю, отсутствием комфорта, теснотой, тревожащим душу воздержанием от дел — пренебрег. Монастырскую келью он превратил в удобную теплую комнату, а жизнь сделал тихой, спокойной, благополучной, занятой и свободной.

Как своего рода изгой, он созрел для отшельничества, пресытившись светом и ничего более не ожидая от него. Как своего рода монах, он был готов к затворничеству, устав от мира и стремясь к уединению, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и порвать с миром глупцов и пошляков.

И все же к состоянию благодати дез Эссента, бесспорно, не влекло. Тем не менее он чувствовал искреннюю

симпатию к монастырским затворникам, покинувшим мир, который не прощает ни вполне оправданного презрения к себе, ни желания замолить, искупить обетом молчания день ото дня растущее бесстыдство мирской болтовни.

ГЛАВА VI

Дез Эссент сидел в глубоком кресле с подголовником и читал старый ин-кварти, положив ноги на ярко-красную подставку для дров. Его домашние туфли были слегка теплыми от огня. Поленья, треща, полыхали в гудящем пламени. Дез Эссент захлопнул книгу, положил ее на стол, потянулся и, закурив, погрузился в сладкие грезы и воспоминания о прошлом. Они несколько стерлись в последние месяцы, но возникли снова, как только ни с того ни с сего ему вспомнилась некая фамилия.

И снова ему совершенно отчетливо было видно, как смутился его приятель д'Эгюранд, объявив на собрании законченных холостяков, что вот-вот женится. Кричали, отговаривали, доказывали, что спать вдвоем в одной постели омерзительно. Не вразумили. Д'Эгюранд потерял голову – свято верил, что будущая супруга умна, нежна и якобы на удивление преданна. Из всей компании лишь один дез Эссент, едва узнав, что невеста намерена поселиться в конце нового бульвара, в только что построенном доме с комнатами в форме ротонды, выступил в его поддержку.

Дез Эссент был убежден, что неординарная личность легче переживет большое горе, чем мелкие бытовые неприятности. А поскольку ни у жениха, ни у невесты не было средств к существованию, то дез Эссент, подговаривая приятеля, прекрасно видел, чем все это закончится.

И действительно, д'Эгюранд приобрел круглую мебель, выгнутые карнизы для штор, консоль с выемкой и ковры в форме полумесяца. Все было сделано на заказ и стоило втридорога. Денег жене на наряды уже не хватало, и апартаменты ей разонравились. Супруги сняли обычную, недорогую, с прямоугольными комнатами квартиру, но круглая мебель к ней не подошла, стала раздражать и оказалась причиной раздоров. Взаимное чувство, поостывшее от совместной жизни, с каждым днем угасало. Во время выяснения отношений супруги обвиняли друг друга в том, что кушетки и столики не придвигаются вплотную к стене и, сколько их ни ставь на место, ездят из стороны в сторону; кричали, что жить в такой обстановке невыносимо. Денег на ее изменение не оставалось, да и изменить уже ничего было нельзя. Ссоры вспыхивали теперь по любому поводу: то ящики перекошены, то горничная под шумок деньги крадет. Словом, жизнь и впрямь стала невыносимой. Муж искал утешений на стороне, жена изменами пыталась развеять скуку и уныние. С обоюдного согласия они отказались от квартиры и разъехались.

«Расчет был точный», — сказал себе тогда дез Эссент с удовлетворением стратега, предусмотревшего все неожиданности и выигравшего сражение.

Поразмыслив, как ловко расстроился брак именно благодаря его горячей поддержке, он подбросил в камин дров и снова задумался.

Нахлынули новые воспоминания в том же духе.

Несколько лет тому назад встретил он на улице Риволи сорванца лет шестнадцати, с виду бледного, но себе на уме и, как девушка, хорошенького. Он с трудом сосал папиросу, бумага которой прорывалась от крупного табака. Паренек чертыхался и тер о штанину спичку, одну, другую, но они не зажигались. Он перепробовал весь коробок. Заме-

тив, что дез Эссент на него смотрит, он поднес руку к козырьку фуражки и вежливо попросил прикурить. Дез Эссент угостил мальчишку роскошной ароматизированной папиросой и, заговорив с ним, попросил рассказать о себе.

История мальчика была проста. Звали его Огюст Ланглау, работал он в картонной мастерской, мать умерла, отец нещадно его бил.

Дез Эссент задумчиво слушал.

– Пойдем выпьем что-нибудь, – предложил он. Он отвел мальчика в кафе и заказал ему крепкий пунш. Тотпил молча.

– Слушай, – сказал вдруг дез Эссент, – хочешь повеселиться вечером? Плачу я. – И привел паренька на улицу Монье, в дом особы, именовавшей себя мадам Лора. На четвертом этаже в комнатах с красными обоями, круглыми зеркалами и канапе она содержала целый цветник прелестниц.

Теребя в руках фуражку, Огюст ошеломленно смотрел на женщин, как по команде раскрывших крашенные рты:

– Ах ты, деточка! Ах, милашка!

– Да ты ж, мой сладкий, еще годами не вышел, – добавила толстая брюнетка с глазами навывкате и горбатым носом, игравшая у мадам Лоры роль «прекрасной иудейки».

Дез Эссент был как дома. Он перешептывался с хозяйкой.

– Да ты не бойся, глупый, – сказал он Огюсту. – Выбери, я угошаю. – Дез Эссент легонько подтолкнул его, и мальчик уселся на диван между двух женщин. Красавицы по знаку хозяйки слегка прижались к нему, набросили ему на колени пеньюары, прижали чуть не к носу горячие и пряные напудренные плечи, и он застыл, покраснев, сжав губы, опустив глаза и посматривая на красавиц робко, искоса, однако невольно бросая взгляды на их прелести.

Прекрасная иудейка, Ванда, обняв его, шептала, что надо слушаться папу и маму, а сама медленно его поглаживала, а он сидел, побледнев и бессильно запрокинув голову.

– Ты, стало быть, не для себя сегодня пришел, – сказала дез Эссенту мадам Лора. – Да где ты этого младенца подцепил? – спросила она, когда Огюст вышел следом за Прекрасной иудейкой.

– На улице, дорогуша.

– А ведь ты вроде не пьян, – пробормотала хозяйка. И, подумав, добавила с материнской улыбкой: – Все ясно. Тебе, шельма, молоденький молодит кое-что!

Дез Эссент пожал плечами.

– Ничего тебе не ясно. Дело совсем не в этом, – ответил он. – Просто я хочу создать убийцу. Послушай-ка, что я об этом думаю. Мальчик невинен и достиг поры, когда начинает бродить кровь. Он может ухаживать за соседскими девушками, жить честно, развлекаться, короче, иметь свое убогое бедняцкое счастье. Так нет же, я привел его сюда и познакомил с роскошью, о которой он не подозревал и которую уже не забудет. И я стану дарить ее ему раз в две недели, приучу к наслаждениям, для его кошелька недоступным. И водить его сюда буду месяца три, чтобы приохотить, но, впрочем, не часто, чтобы и охоту не отбить. Итак, он ко всему привыкнет и уже не сможет без этого обойтись. Но тут подойдет к концу плата, которую я наперед сейчас внесу тебе на сие доброе дело. Тогда он займется воровством, чтобы вернуться сюда, и на все пойдет, чтобы только снова завалиться в шелка на диван!

Начнет воровать, дальше больше, а там, надеюсь, и убьет, если жертва вздумает защищать свое добро. И цель моя, выходит, достигнута. То есть я, по мере сил и средств, создал мерзавца и вора, врага общества, которое и само мерзко, само грабит нас.

Красотки, вытаращив глаза, смотрели на него.

— А вот и ты! — сказал он, когда Огюст Ланглуа, смущенный и красный, прячась за спину Прекрасной иудейки, вошел в гостиную. — Ну ладно, малыш, поздно уже, скажи дамам «до свидания». — И, когда они спускались по лестнице, дез Эссент объявил ему, что тот сможет бесплатно приходить к мадам Лоре раз в две недели. На улице он простился с ним. Юноша в ошеломлении смотрел на него.

— Мы уже больше не увидимся, — сказал дез Эссент. — Беги к своему драчливому отцу и запомни почти библейскую мудрость: поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой¹. Будешь ей следовать, пойдешь далеко. Ну, прощай. И не будь неблагодарным — дай о себе знать в газетах через судебную хронику.

— Ах ты предатель маленький! — шептал теперь дез Эссент, вороша угли в камине. — Так и не встретил я твоего имени в разделе «Пронсшествия»! Правда, в своих расчетах я мог всего и не предусмотреть. Какие только не встречаются неожиданности: мамаша Лора была способна денежки прикарманить, а малого выставить, или одна из красоток влюбилась в него и стала принимать бесплатно, а может, Прекрасная иудейка, дама более чем томная, отвратила нетерпеливого новичка слишком медленным приливом своей испепеляющей страсти. Впрочем, мальчик мог попасться, когда я уже был в Фонтенее. Газет мне здесь не доставляют, я об этом могу и не узнать.

Дез Эссент встал и прошелся по комнате.

— И все-таки жаль, если из этого ничего не вышло, — вздохнул он, — ведь мне удалось в точности поймать смысл и суть социального воспитания. Общество превра-

¹ «Поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой». — Ср.: «Как хотите, чтобы люди поступали с вами, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7, 12).

щает своих членов в Огюстов Ланглуа тем, что не только не страдает несчастным, не воспитывает в них смирение, но, напротив, делает все, чтобы обездоленные лишней разубедились, что судьба других сложилась лучше, незаслуженно лучше, что чем дороже радости, тем они более желанны и сладки.

Следовательно, рассуждал дез Эссент, все горе – от ума. Чем больше бедняги знают, тем больше мучаются. Развивать их ум и утончать нервы – значит растить в них и без того живучие страдания и социальную ненависть.

Лампы стали коптить. Он подправил фитиль и посмотрел на часы: три утра. Снова закурив, открыл книгу, которую, замечтавшись, отложил в сторону. Это была старая латинская поэма «*De laude castitatis*»², сочиненная Авитусом, архиепископом города Вены в эпоху правления Гондебальда³.

² «*De laude castitatis*» (лат.) – «Похвала добродетели».

³ Гондебальд (ум. 516) – король Бургундии.

ГЛАВА VII

С той самой ночи, когда ему ни с того ни с сего пришло на память грустное воспоминание об Огюсте Ланглуа, он начал все больше и больше погружаться в прошлое.

И теперь он уже ни строчки не мог понять из того, что читал, да и забросил чтение. Он словно пресытился книгами и картинами и отказывался воспринимать что-либо.

Он варился в собственном соку, жил за счет собственного организма, как зверь в пору зимней спячки. Одиночество подействовало на него подобно наркотику – сначала взбудрило, возбудило, а потом погрузило в оцепенение и грезы и, разрушив его планы, сковав волю, отправило в мир мечты, и он, не оказывая сопротивления, с покорностью уступил этому.

Беспорядочное чтение, уединенные думы от искусстве, стены фонтенейского дома, за которыми он хотел спастись от потока воспоминаний, – все это было в один миг снесено. Хлынули воды прошлого, затопили и настоящее, и будущее, заполонили ум печалью, в которой, как обломки судна, потерпевшего кораблекрушение, плавали заурядные события нынешней его жизни, пустячные и бессмысленные.

Он пробовал читать, но книги валялись у него из рук, и он снова забывался, с тревогой и отвращением перебирая в памяти события прошлого. А оно все бурлило, все кружилось вокруг воспоминаний об Огюсте и мадам Лоре, эти

воспоминания были неотвязны, маяча перед ним, как свая в воде. С чем только не сталкивался он тогда! Светские приемы, дерби, карты, плотские утехы, заказанные заранее и поданные в назначенный час, с первым полночным ударом часов, в его розовый будуар! И проплывали перед ним тени, лица, слышался шум слов, назойливых и неотвязных, как пошлый мотив, который до поры до времени, не в силах позабыть его, насвистываешь, а затем, не отдавая себе в этом отчета, в какой-то момент вдруг забываешь.

Он забылся ненадолго и вскоре, очнувшись, попытался с головой уйти в латинские штудии, чтобы напрочь освободиться от прошлого.

Но было поздно. Почти тотчас хлынул новый поток, на этот раз – детских воспоминаний, где выделялись годы ученья у отцов иезуитов.

Эти воспоминания были и далекими, и близкими, то есть виделись издали более чем выпукло, четко, ясно: перед ним возник мир тенистого парка, длинных аллей, газонов, садовых скамеек.

А вот и школьная перемена: парк становится полон, в нем раздаются голоса учеников, смех учителей; иные, подоткнув сутану, играют в лапту, иные, стоя под деревьями, запросто разговаривают с мальчиками, словно с ровесниками.

Он вспомнил, как снисходительны были к своим подопечным отцы наставники, не заставляя по пятьсот, а то и по тысяче раз переписывать один и тот же стих, а лишь делали помету на полях: «исправить ошибку»; не карали за беготню и невыученные уроки, но слегка журили; опекали настойчиво, но мягко и, стараясь угодить, разрешали гулять где хочется, а также пользовались любым незначительным и не учтенным церковью праздником, чтобы добавить к школьному обеду пирожки и вино или устроить пик-

ник. Словом, необременительное иезуитское иго означало не утруждать ученика, а говорить с ним на равных и относиться к нему как к взрослому, но баловать, как дитя.

И тем самым учителя приобретали власть над учениками и в какой-то мере придавали форму уму, который возвращали. Они, поначалу направив питомца и привив ему определенные понятия, позднее содействовали его развитию ловко и ненавязчиво. Они следили за дальнейшей судьбой своих подопечных, способствовали их карьере, рассылали им письма с различными наставлениями, как это делал доминиканец Лакордер¹ в посланиях соррези-ским ученикам.

Дез Эссент на собственном опыте испытал все это. Впрочем, он был уверен, что устоял. Он и в детстве был упрямым, строптивцем, казуистом и спорщиком и не поддавался ни обработке, ни лепке. А когда закончил школу, то и вовсе стал скептиком. Встречи с законниками, нетерпимыми и ограниченными, беседы с аббатами и служащими храма свели на нет все усилия иезуитов, вооружили независимый ум, укрепили неверие.

В общем, он почитал себя свободным от всякого принуждения и ни с кем не связанным. Правда, в отличие от выпускников светских лицеев и пансионов, сохранил добрые воспоминания о школе и учителях. Но именно теперь он вдруг засомневался, так ли уж бесплодно поле, вспаханное иезуитами, и не дают ли все же всходы посеянные ими семена.

И в самом деле, вот уже несколько дней дез Эссент находился в самом смятенном состоянии духа и в какой-то

¹Лакордер, Жан Батист Анри Доминик (1802–1861) – французский проповедник, писатель, член французской Академии. Восстановил орден доминиканцев во Франции, его проповеди публиковались с 1844-го по 1851 г.

миг даже невольно потянулся к вере, но, едва он стал рассуждать об этом, как эта тяга прошла; смятение, однако, не проходило.

Впрочем, он прекрасно знал себя и был уверен, что не способен на действительно христианское смирение или покаяние; понимал, что никогда не ощутит тот самый миг благодати, когда, по словам Лакордера, «луч веры осветит душу и все рассеянные в ней истины сольет в одну»; и не испытывал ни малейшего порыва к самоукорению и молитве, без которых, если верить священникам, обращение к вере невозможно; и не взывал к милосердию Божьему, в котором, кстати, сомневался; и тем не менее к учителям своим относился с симпатией, а потому перелистывал их труды и интересовался богословием. Редкая сила убеждения, страстный голос умов высшего порядка нравились ему, даже заставляли усомниться в собственных разуме и силах. В фонтенейском затворничестве душа дез Эссента не знала ни свежих впечатлений, ни новых мыслей и чувств от встреч с людьми и внешним миром. Благодаря этому упрямому и в чем-то противоестественному заточению все большие вопросы, забытые было дез Эссентом за время парижских увеселений, снова встали перед ним.

Способствовало тому, конечно, и чтение любимых латинских авторов, в основном епископов и монахов. Монастырская обстановка комнаты, запах ладана и книги взволновали его и, оттеснив воспоминания о проведенной в столице юности, вернули в школьные годы.

Да, во мне эта закваска с детства, думал дез Эссент, объясняя себе появление в Фонтенее иезуитского духа. Тесто, впрочем, так и не взошло. Но недаром меня всегда столь тянуло к духовным материям.

Выходило, что он сам себе не хозяин. Он пытался разубедить себя в этом и дать всему рациональное объясне-

ние: видимо, церковь одна-единственная сохранила утраченные формы и линии, отстояла – пусть и в нынешнем безобразном виде, неотделимом от алюминия и цветных стекляшек, – изящество утвари, прелесть вытянутых, как петуния, чаш и гладкобоких дароносиц, и таким образом сберегла красоту былых времен. Не надо забывать, что большая часть бесценных сосудов, чудом уцелевших от зверств санкюлотов, поступила в музей Клюни² из старых французских аббатств. В эпоху средневекового варварства именно церковь приютила у себя философию, словесность, собрания исторических документов. Она сберегла также и древнее пластическое искусство, сохранила для нас изумительные ткани и драгоценности; кстати, как их ни портят современные торговцы древностями, им не удастся уничтожить их первоначальную красоту. Стало быть, вряд ли вызовет удивление, что он гонялся за старыми книгами, рылся, как и прочие собиратели, на развалах парижских букинистов, пропадал в провинции у старьевщиков.

И, несмотря на все эти доводы, до конца разубедить себя дез Эссент не смог. Разумеется, вера продолжала ему казаться скучным обманом, но все же его скептицизм дал трещину.

Странно, но факт: упорствовал он теперь гораздо меньше, чем в детстве, когда иезуиты были рядом, воспитывали и наставляли, когда он принадлежал им душой и телом

² *Музей Клюни. – Клюнийский монастырь воскрешал монашеские уставы первых веков христианства. Устав клюнийского монастыря распространился на другие европейские страны. Образовалась клюнийская конгрегация, влиявшая на общую политику государств Европы. Расцвет монастыря – XII в. Во время Реформации теряет свою власть, а в 1790 г. был, как и другие монастыри, закрыт учредительным собранием. В здании клюнийского аббатства теперь находится музей Клюни.*

и не знал никого, кто мог бы настроить его против них и увлечь чем-то посторонним. Им удалось-таки привить дез Эссенту любовь к божественному. Где-то глубоко в нем она пустила свои незримые корни, понемногу разрослась и вот теперь, в тиши уединения, оказывая воздействие на его замкнувшийся в тесном мирке навязчивых идей ум, расцвела пышным цветом.

Дез Эссент стал разбираться в своих чувствах, проследил их развитие и, выявив их происхождение, убедился, что все в его прежней свободной жизни было обусловлено иезуитской выучкой. Так что тяготение ко всему искусственному и эксцентричному – это, конечно, результат своеобразной вольницы занятий, почти неземной утонченности в манерах и квазибогословского склада мысли. Этот порыв в сущности не что иное, как восторженное искание идеала, неведомого мира и по-библейски чаемой грядущей благодати.

Тут дез Эссент прервал свои размышления. Значит, сказал он себе с досадой, я заражен гораздо больше, чем думал. Даже и рассуждаю как казуист.

Охваченный смутной тревогой, дез Эссент задумался. Если я прав и обращение к вере происходит не на пустом месте и требует определенной подготовки, то бояться, разумеется, нечего. Но пишут же романисты о любви с первого взгляда, а богословы – об озарении. И если правы именно они, то бояться есть чего. Потому что бесполезно тогда анализировать поступки, прислушиваться к своему внутреннему голосу, принимать меры предосторожности. И бессмысленно объяснять мистическое. Ибо то, что произошло, необратимо.

– Ну и ну! Я совсем поглупел! – сказал дез Эссент. – Если так и дальше будет продолжаться, я от опасения заболеть и впрямь заболею.

Он попытался сопротивляться. Воспоминания ушли. Появились, однако, новые симптомы недуга в виде богословских понятий. Вместо живых картин парка, уроков, воспитателей – одни абстракции. И он помимо воли размышлял о противоречивом истолковании догм, о былых ересях, которые описаны в книге о церковных соборах отцом Лаббом. То доносились до дез Эссента отголоски еретических учений или споров, разделивших некогда церковь на восточную и западную. То Несторий³ отказывал Деве Марии в праве зваться Богородицей, потому что в таинстве воплощения зачала она якобы не Бога, а человека; то Евтихий⁴ объявлял, что божественным в Христе было совершенно поглощено все человеческое и Он имел лишь кажущуюся плоть; или другие спорщики доказывали, что Спаситель вообще не имел тела и что сие выражение, «Тело Господне», взятое из Священного писания, следует понимать в переносном смысле, то Тертуллиан бросал свое знаменитое, почти материалистическое: «Бестелесно лишь то, что не существует. Всякое сущее наделено присущим ему телом». Или возникал, наконец, веками длившийся спор о том, был ли распят один Христос или на Голгофе претерпела крестные муки Единая и Нераздельная Троица. И все эти мысли осаждали и мучили дез Эссента. тогда как он машинально, словно твердя заученный урок, сам и задавал вопросы, и отвечал на них.

Несколько дней подряд его переполняли парадоксы, логические выкладки, мысли о противоречивом хитроспле-

³Несторий (ум. 450) – константинопольский патриарх в 428–431 гг., осужденный Вселенским Эфесским собором за еретическое учение о двух самостоятельно существующих природах Христа.

⁴Евтихий (378–451) – родоначальник ереси, по которой все человеческое во Христе совершенно поглощено Божественным. Осужден на 5-м Вселенском соборе.

тении сложных определений из области самой тонкой и придирчивой небесной юриспруденции, которые подходили за счет игры слов для любого истолкования. Потом прекратились и абстракции. И под влиянием развешанных по стенам картин Моро в его воображении возникли образы пластические.

Дез Эссент видел, как мимо него проходит крестный ход, как архимандриты и другие пастыри поднимают руку, благословляя коленопреклоненную толпу, и покачивают своими седыми бородами, читая молитвы. Увидел он, как тянутся в темные крипты молчаливые цепочки кающихся. Увидел, как устремляются к небу соборы, а в них с амвона читаются проповеди. Подобно де Квинси⁵, который под влиянием опиума вспоминал при словах «*consul romanus*» целые страницы из Тита Ливия и воочию представлял себе торжественный церемониал императорского двора или планомерный отход римской армии, дез Эссенту при упоминании любого догмата вдруг с волнением рисовалась сияющая базилика и на ее фоне пастырь со своей многочисленной паствой. Шли века, собрание верующих уступило место современной службе, и это видение благочестивой череды времен погружало дез Эссента в бесконечность печальной и нежной мелодии.

Здесь не требовались ни рассуждения, ни аргументы, ни доказательства. Страх и трепет охватили дез Эссента. Образы искусства отступили под католическим натиском рассудка. Дез Эссент затрепетал было и вдруг – как бы восстал, в один миг взбунтовался. В голове у него забурлили чудовищные мысли! Они были связаны с хулой против святой воды и елея, о которой говорится в пасхальной книге для духовников. Сколь силен демон, противящийся

⁵Томас де Квинси (Кинси, 1785–1859) – английский писатель-романтик, автор «Исповеди курильщика опиума» (1822).

Всемогущему Богу! Страшная сила может исходить от самого верующего, который со злобной, мерзкой радостью прямо в храме кощунствует, святотатствует, проклинает, богохульствует и начинает участвовать в колдовстве, черных мессах, шабашах, всяческой бесовщине. Дез Эссент решил, что святотатствует уже тем, что хранит дома предметы культа – церковные книги, ризы, дароносицы. Сознание собственной греховности принесло ему чувство радости и гордости. Он испытал даже тайное удовольствие от этого святотатства, впрочем, святотатства невеликого или не святотатства вовсе: в конце концов, он любил эту утварь и не нарушал никаких правил. Так, из-за боязливости и осторожности он начал успокаивать себя, ибо был склонен во всем сомневаться и к тому же не находил в себе храбрости на явные злодейства и смертные грехи.

Наконец мало-помалу рассеялись и эти помыслы. И дез Эссент как бы с духовных высот смог прозреть суть и того, как поколение за поколением церковь врачевала человечество. Она предстала перед ним и плачущей, и ликующей. Несла весть о жестокости и несправедливости жизни. Проповедовала терпение, покаяние, самопожертвование. Указывая на крестные муки Христа, старалась облегчить страдания. Обещала иную, лучшую участь и райское блаженство на том свете всем, кто обижен на этом. Призывала считать искупительной жертвой Господу страдания, несение обид и тягот, удары судьбы. Да, церковь находила чудные слова утешения, становилась матерью обижаемых, заступницей гонимых, грозой тиранов и сильных мира сего.

И здесь снова возвращались сомнения. Очень хорошо, конечно, что церковь указывает на несовершенство этой жизни, но очень плохо, что тешит надеждами на жизнь небесную. Шопенгауэр оказывался более точным. Он, как и

церковь, исходил из того, что жизнь гнусна и несправедлива. Он так же, как и «Подражание Христу», горько восклицает: «Что за несчастье – земная жизнь!» И проповедовал одиночество и нищету духа, говоря людям, что, как бы ни складывалась их жизнь и чем бы они ни занимались, они останутся несчастными: бедняки потому, что от бедности – горе и боль; богачи потому, что от богатства – непроходимая скука. Однако он не придумывал никакой панацеи, не пытался сказками смягчить боль.

Шопенгауэр не поддерживал идею первородного греха, не доказывал, что не случайно небесный Самодержец защищает негодяев, помогает глупцам, отнимает детство, лишает ума в старости и медлит со справедливостью; не уверял, что благое Провидение изобрело во благо эту ненужную, непонятную, несправедливую, нелепую дикость – физическое страдание; и уж никак не говорил, в отличие от церкви, о необходимости испытаний и лишений, а только из сострадания восклицал в возмущении: «Если это Бог создал землю, не хотел бы я быть Богом! У меня от ее несчастий разорвалось бы сердце!»

Эх! Он один-то и был прав! Чего стоили все эти евангелические лечебники по сравнению с его трактатами о духовной гигиене! Он-то не пытался никого лечить, не предлагал больным никаких снадобий, не обнадеживал их, но его учение о пессимизме было в общем-то величайшим лекарством и утешением умов избранных, душ возвышенных. Учение это показывало общество таким, каким оно реально является, настаивало, что женщины глупы от рождения, а также, указывая на возможные опасности, предостерегало от иллюзий, советуя питать как можно меньше надежд, а в случае, если они все же сильны, вовсе расстаться с ними и почитать себя счастливецом уже потому, что вам нечаянно не свалился на голову кирпич.

Это учение следовало по тому же пути, что и «Подражание», однако не сбивалось с дороги, не плутало по неведомым тропкам, не устремлялось в лабиринты, хотя и достигало той же цели – вывода о смирении и всепрятии.

Правда, всепрятие и смирение, то есть просто-напросто констатация печального положения дел и невозможности каких-либо изменений, могли понять и принять лишь избранные. Остальные же выбирали добренькую веру, посредством чего смягчали гнев и оставляли неповрежденной свою мечту.

Эти размышления снимали с души дез Эссента огромную тяжесть. Сами по себе афоризмы великого немца успокаивали мысль, а вкупе с церковным утешением пробуждали работу памяти, и не мог уже дез Эссент отрешиться от католичества, столь поэтичного, столь пронзительного, в которое он некогда погрузился и сущность которого проникла в него до мозга костей.

Религиозное чувство и страхи, с ним связанные, вернулись к дез Эссенту с тех пор, как здоровье его пошатнулось. Новое обретение веры и очередное нервное расстройство совпали.

У него еще в ранней юности возникли своеобразные болезненные ощущения: пробегали мурашки по спине или дергался уголок рта, если, например, он видел, как прачка выжимает мокрое белье. С годами они не проходили. Он и сегодня страдал, когда слышал, как разрывают ткань, трут пальцем по куску мела, ощупывают шелк.

Невоздержанность в холостяцких привычках, утомительная работа ума усилили врожденный невроз, истощили кровь, и без того в их роду истощенную. В Париже дез Эссенту пришлось пройти курс гидротерапии, так как у него дрожали руки и были сильнее невралгические боли. От них перекашивалось лицо, стучало в висках, ко-

лоло в венах, тошнило, причем тошноту можно было перебороть, только если лечь на спину и погасить свет.

Когда он уgomонился и упорядочил свою жизнь, то невралгия прекратилась. Теперь она вернулась в новом виде: перестала болеть голова, зато раздулся живот, по кишкам как будто провели раскаленным утюгом, рези не отпускали, но были безрезультатны. Потом появился нервный кашель, сухой, раздражающий. Он будил и душил его, начинаясь и прекращаясь в одно и то же мгновение. Наконец пропал аппетит, стали мучить боли в желудке, изжога. После каждой еды дез Эссента раздувало, застегнутый жилет и брюки давили нестерпимо.

Он отказался от вина, кофе, чая, перешел на молоко, стал обливаться холодной водой и усердно принимать асса-фетиду, валерьяновые капли, хинин. Он отважился даже выйти из дому, попробовал прогуливаться за городом и по окрестностям, от зачастивших дождей безмолвным и опустевшим; силился размяться, походить пешком, отказался, в качестве крайней меры, от чтения. И тогда, изнемогая от скуки, он вздумал наконец вернуться к занятиям, которые, поселившись в Фонтенее, отложил из лени и ненависти ко всякому беспокойству.

Дать себя околдовать дивному языку, а также прийти в волнение от чудесных определений, и очень точных, и вместе с тем говорящих знатоку о потустороннем, дез Эссент уже не мог и решил поэтому закончить работу по домашнему обустройству и обзавестись в теплице дорогими и редко встречающимися цветами, а иначе говоря, занявшись конкретным делом, развеяться и успокоить свои нервы и мозг. Дез Эссент надеялся, что эта яркая и причудливая палитра хоть как-то заменит ему краски языка, которых он в данный момент лишился, посадив себя на литературную диету.

ГЛАВА VIII

Дез Эссент всегда был без ума от цветов, но прежде, в Жютиныи, он любил их все подряд без разбора, а теперь его чувство сосредоточилось на одном.

Дез Эссент с давних пор не выносил те неприятательные растения, которые в неизменно мокрых горшках продавались под зелеными навесами и рыжими зонтиками парижских рынков.

Одновременно с утончением его литературных вкусов и пристрастий, самым тонким и взыскательным отбором круга чтения, а также ростом отвращения ко всем общепринятым идеям отстоялось и его чувство к цветам. Оно сделалось по-возвышенному чистым и, в определенном смысле, рафинированным.

Дез Эссенту казалось, что цветочную лавку можно уподобить обществу со всеми его социальными прослойками: бывают цветы трущоб – нищие и обездоленные обитатели мансардных подоконников, старых глиняных чашек и молочных банок – скажем, левкой; есть цветы-обыватели – заурядные, напыщенные и ограниченные хозяева расписанных фигурками фарфоровых кашпо – например, розы; и еще, конечно, водятся цветы-аристократы – орхидеи – прелестные, нежные, трепетно-зябкие экзотические создания, столичные отшельники, обитатели стеклянных дворцов, цветочная знать, живущая

особняком, в стороне от уличной зелени и мешанской флоры.

Итак, дез Эссент испытывал жалость к цветам-беднякам, увядающим от миазмов сточных канав, но, презирая цветники новеньких кремово-золотистых гостиных, прямо-таки обожал все редкие, изысканные и нездешние цветы, которые требовали особого ухода и располагались в жарких областях печного экватора.

Но и эта привязанность дез Эссента видоизменилась под влиянием его нынешних вкусов и суждений. Раньше, в Париже, он, любя всякую ненатуральность, отказался от живых цветов и обратился к искусственным, в точности подражавшим природе посредством искусного сочетания ниток, резинок, коленкора, тафты, бумаги и бархата.

У него была прекрасная коллекция тропических растений, созданная мастерами своего дела, которые, скопировав природу, воссоздали ее и, поймав цветок еще в завязи, проследив его развитие до бутона и расставшись с ним в пору увядания, сумели передать самые неуловимые оттенки, самые мимолетные состояния сна и бодрствования венчика. Они следили за положением пригнутых дождем или ветром лепестков, опрыскивали цветок клеевой росой, бутоны наливали пышным цветом, а веточки соками или же истончали стебель, уменьшали размер чашечки, разрезали лепестки.

Дез Эссент долгое время восхищался искусственными цветами, но теперь нашел себе новое увлечение.

Теперь он искал не искусственные цветы, имитировавшие живые, но живые, имитировавшие искусственные.

И этим поиском он занялся всерьез. Впрочем, искать пришлось недолго, так как его фонтенейский дом находился в краю искусников этого рода. Он обошел все оранжереи на улице Шатийон и в Онэйской долине и, потратив

все силы и деньги, вернулся домой в полном восторге от увиденного. Теперь он только и размышлял о приобретенных им чудо-цветах.

Два дня спустя они были доставлены.

Дез Эссент тщательно проверил все покупки по списку.

Цветочки выгрузили из повозки целое семейство каладиев с их вздутыми стеблями и сердцевидными листьями. Каждый цветок отдаленно походил на своего собрата, но вместе с тем сохранял своеобразие.

Были среди них особи удивительные, розоватые, например Девственник, словно вырезанный из лакированной ткани и прорезиненной английской тафты; были белые, такие, как Альбан, напоминавший бычью плевру и свиной мочевого пузыря; имелись и экземпляры, похожие на цинк, вроде Мадам Мам, и на штампованный металл, будто обмазанный темно-зеленой масляной краской, суриком и свинцовыми белилами; а такие, как Босфор, казались куском накрахмаленного коленкора, пестревшего красно-зеленой крапинкой; а Северная Аврора, с пурпурными бочками и фиолетовыми прожилками, и вовсе, как сырое мясо, набухала и пахла кровью и красным вином.

Альбан и Аврора представляли собой два полюса, два противоположных темперамента, как бы хлороз и апоплексию.

А цветочки выгружали новые каладии. Одни точь-в-точь походили на искусственную кожу с прожилками; другие, бледные, в красных пятнах, точно в сыпи, казалось, болели лишаем, проказой и сифилисом; третьи были ярко-розовые, цвета зарубцевавшейся раны, и коричневые, цвета коросты; многие цветы – словно в ожогах после прижигания, иные – волосатые, с гнойниками и язвами, а некоторые – даже как будто забинтованные или покрытые черной ртутной и зеленой белладонновой мазью, а

также присыпанные пылью и желтыми слюдяными кристалликами йода.

И теперь, собранные все вместе, каладии выглядели еще безобразней, чем тогда, когда дез Эссент впервые увидел их среди других цветов в походившей на больничную палату теплице с грязными стеклами.

— Вот это да! — воскликнул он с жаром.

Привело его в восхищение и другое растение — родственная каладию *alocasia metallica*. Она отливала зеленоватой бронзой, а местами белела, как серебро, и, походя на великолепно изогнутую печную трубу, казалась шедевром жестянщика.

Затем на свет появились кусты цветов с продолговатыми бутылочно-зелеными листьями. Из каждого куста торчал стебель, венчавшийся гладкой ромбовидной фигурой. И, словно бросая вызов всей остальной флоре, из недр огненно-красного бубнового ромба высывался мясистый желто-белый пестик — у одних цветов прямой, у других — как колечко свиного хвостика.

Это был антуриум, из семейства аронниковых, недавно привезенный во Францию из Колумбии. Из того же семейства происходил и кохинхинский аморфофаллос с цветками в виде лопаточки для рыбы, напоминавший длинными и покрытыми рубцами стеблями искалеченные руки негра.

Дез Эссент ликовал.

А с повозки сгружали новых монстров. Вот эхинопсы обнажили культы до тошноты розовых цветков. И нидуларии раскрыли губы-бритвы, явив зияющую рану своей глотки. И темные, цвета винного сусла, тилландзии линдени устремили вверх частокол своих скребков. От безумного сплетения киприпедий рябило в глазах, как от рисунков умалишенного. Растения напоминали то ли сабо, то ли стакан для полоскания горла с соответствующих медицин-

ских плакатов, из которого почему-то высывался воспаленный язык. Его кончик странным образом разветвлялся и был похож на пару багрово-красных, словно снятых с игрушечной мельницы крылышек. Они как бы парили над черепично-темным и сочащимся клейкой слизью языком.

Засмотревшись на удивительные индийские орхидеи, дез Эссент позабыл о своем списке. В этот момент была выгружена еще одна партия цветов, названия которых на горшечных наклейках стали читать вслух сами цветочники, так и не дождавшись этого от ушедшего в себя заказчика.

Поеживаясь от увиденного, дез Эссент вслушивался в эти дикие на слух имена: *encephlartos horridus* – гигантский ржавый металлический еж, которым пользовались при осаде для штурма крепостных ворот; *socos micania* – ребристое пальмовое дерево, опускавшее и поднимавшее свои внушительные ветви-весла; *zamia lehmanni* – громадный ананас в горшке с землей и песком, пронзенная копьями и стрелами голова честерского сыра; *cibotium spectabile* – самый диковинный и будоражащий взгляд цветок в виде свешивающегося с пальмовой ветви хвоста орангутанга, волосатого, коричневого, загнутого на конце, как епископский посох.

Но дез Эссент не особенно его разглядывал. Он с нетерпением ожидал своих любимцев из семейства живоглотов. Это были бархатистая антильская мухоловка с жидкостью для пищеварения и решеткой из кривых игл; затем дрозера торфяная с необычайно прочными лапками-лепестками; затем саррацения и цефалот, алчные пасти-фунтики, способные проглотить настоящее мясо; наконец, непентес, форма которого совершенно не соответствовала представлению о цветке.

Удивляясь покупке, дез Эссент все вертел и вертел в руках горшок. Листья непентеса, словно сделанные из ре-

зины, были самых различных – то бутылочно-темных, то серо-стальных зеленых оттенков. Под каждым листом на тонком зеленоватом хрящике висел пятнистый салатový мешочек, напоминавший немецкую фарфоровую трубку или птичье гнездышко. Он тихонько покачивался и раскрывал свое волосяное нутро.

– Этот всех переплюнет, – прошептал дез Эссент.

Тут ему пришлось расстаться с любимцем, так как цветочники, спеша закончить свои дела и уехать, выгружали последние горшки и попеременно заносили в дом клубневидные бегонии и кротоны, на темной жести которых красовались оловянные бляшки.

Здесь дез Эссент заметил, что в списке осталось неучтенным одно наименование – орхидея новогранадская. Тогда ему указали на колокольчик с тускло-сиреневыми и как бы линялыми лепестками. Дез Эссент подошел, сунул в цветок нос и отпрянул: пахло Рождеством, коробкой с елочными игрушками и прочими кошмарами Нового года.

Он подумал, что следовало бы побережться этой орхидеи, и почти даже пожалел, что вместе с растениями без всякого запаха приобрел цветок, который навевал одно из самых неприятных для него воспоминаний.

Оставшись один, дез Эссент окинул взглядом раскинувшееся у него в прихожей цветочное море. Цветы тянули друг к другу листья, сплетались, скрещивали шпаги, кинжалы, копыя, были средоточием зеленых стрел и ослепительно-ярких флажков.

Освещение в прихожей стало более мягким. Вскоре из темного угла забрезжил свет, белый и мерцающий.

Приблизившись, дез Эссент увидел, что это светят, подобно ночнику, ризоморфы.

Сколь они поразительны, думалось ему. Он сделал шаг назад и окинул взглядом все свои покупки. Да, он получил

то, что хотел. Ни один цветок не выглядел живым. Казалось, человек одолжил природе ткань, бумагу, фарфор, металл. Из них-то она и создала этих уродцев. И там, где ей не удалась имитация рукотворных усилий человека, она с анатомической тщательностью воспроизвела внутренности животных, скопировала яркий цвет гниющей плоти и бросавшую в жар гниль гангрены.

«У них словно сифилис», – казалось дез Эссенту, когда он в лучах дневного света осматривал чудовищные пятна каладия. И ему вдруг явился образ этого древнего недуга человечества, который косил еще праотцов и, передаваясь от поколения к поколению, все еще продолжал разрушать кости в раскрытых ныне старых могилах!

Болезнь трудилась без устали и переходила из века в век. Свирепствовала она и ныне, принимая вид других недугов – мигрени, бронхита, подагры, невроза. Временами она становилась самой собой и поражала, как правило, людей в жизни не пристроенных и нуждающихся и, словно в насмешку, одаривая их монистами золотистой сыпи и серебристыми кольцами, отмечала страдальцев всеми признаками процветания и благополучия!

И вот сейчас на раскрашенной листве орхидей она проявилась во всем своем первоизданном виде!

«Ну конечно, – говорил себе дез Эссент, вернувшись к исходной точке рассуждения, – сама по себе природа не способна породить нечто нездоровое и произвольное. Она лишь поставляет исходный материал – семя, почву, плод, материнское чрево, и только человек в соответствии со своим вкусом обрабатывает его, придает конечную форму и цвет».

И природа – упрямец, путаница, воплощенная косность – подчинилась. Ее сюзерену, человеку, посредством различных экспериментов удалось переиначить состав зе-

мли, а также употребить в своих интересах лабораторные гибриды, достигнутые в результате долгого труда скрещивания видов, сложных прививок. В итоге человек пересаживает на одну ветку не сочетающиеся между собой цветы, изменяет, как хочет, их вековые формы, изобретает новые оттенки лепестков и, нанося последние штрихи и окончательно завершая работу, ставит свою подпись, росчерк.

«Не подлежит сомнению, — заключил дез Эссент, — что человек за несколько лет выведет нечто такое, чего, может, не удалось добиться природе и за несколько веков. Нет, честное слово, в наше время оранжерейщики стали подлинными художниками!»

Дез Эссент слегка устал. От цветочных ароматов он начал задыхаться. Покупки выбили его из сил. Переход от холода к теплу и от оживленной деятельности извне к сидению взаперти оказался слишком резким. Дез Эссент пошел в спальню и лег. Однако, хотя он и задремал, его натянутый, как тетива, и захваченный одной-единственной мыслью мозг продолжал бодрствовать, пока не погрузился в пучину кошмара.

Дез Эссенту пригрезилось, что в сумерках он идет по лесной тропинке рядом с женщиной, которую никогда раньше не видел. Она была худа, веснушчата, с белесыми волосами, бульдожьей челюстью, вздернутым носом и выпирающими кривыми зубами. На ней белый, как у горничной, фартук, армейская кожаная накидка, короткие прусские солдатские сапоги и черный чепец с оборкой и бантом.

С виду походила она на циркачку, балаганную плясунью.

Дез Эссент ощущал, что издавна знает ее, но так и не смог ответить на вопрос, кто же она такая. Он силился вызвать в памяти ее имя, адрес родственников, характер за-

нятий. Но нет, он напрочь забыл, как и почему связан с ней. Однако отрицать эту связь было едва ли возможно.

Он все еще пытался что-то вспомнить, как вдруг заметил всадника, который, проскакав с минутой, оглянулся.

От этого взгляда дез Эссент застыл на месте и похолодел от ужаса. У всадника, существа эфирного, бесполого, лившего вокруг себя зеленый свет, были фиолетовые веки и невыносимо холодные голубые глаза. Рот весь в прыщах. Из-под лохмотьев торчат костлявые, как у скелета, и лихорадочно трясущиеся руки. Идут дрожью и не менее костлявые ноги. Они тонут в чересчур широких сапогах с высоким голенищем.

Страшный взгляд был прикован к дез Эссенту и леденил его душу. Женщина-бульдог пришла в еще больший ужас. Запрокинув голову, она словно издала предсмертный хрип.

Смысл видения тотчас дошел до него. Всадник воплощал сифилис.

Обезумев от страха и позабыв обо всем на свете, дез Эссент свернул влево и по тропинке бросился к домику в зарослях раkitника; едва вбежав в коридор, рухнул на стул.

Не успел он отдышаться, как услышал рыдание. Он поднял голову. Рядом стояла женщина-бульдог. Жалкая, страшная, заливаясь горячими слезами, она поведала ему, что на бегу потеряла вставную челюсть. Потом достала из кармана фартука фарфоровые трубочки и, разбив на части, стала вставлять их вместо зубов в десны.

— Что за глупость! — пробормотал дез Эссент. — Они же выпадут! — И действительно, все так и произошло.

В этот миг послышался стук копыт. Ужас охватил дез Эссента. В ногах началась дрожь. Стук раздавался все ближе и ближе.словно огретый хлыстом, дез Эссент в отчаянии вскочил на ноги. Женщина топтала остатки

фарфора. Он вцепился в нее и умолял не шуметь, чтобы не обнаружить их присутствия. Она сопротивлялась; он потащил ее в глубь коридора, пытаясь зажать ей рот. Путь им преградила открывающаяся на обе стороны зеленая решетчатая дверь, наподобие тех, которые встречаются в кабаре. Он было толкнул ее и хотел войти, но остановился.

Перед ним на поляне огромные белые воробьи скакали в лунном свете, как зайцы.

Он зарыдал от безнадежности. Никогда, нет, никогда он не сможет переступить порога. «Они же меня раздавят», — мелькнуло у него в голове. И, словно в подтверждение его мыслей, слетались все новые гигантские воробьи. Их лапы касались земли, а головы — неба. От их прыжков не было видно горизонта.

И тут стук копыт замер. Всадник был рядом, напротив круглого коридорного окошка. Дез Эссент, ни жив ни мертв, оглянулся и увидел за стеклом оттопыренные уши, желтые зубы и пар из ноздрей.

Силы оставили дез Эссента. Он не был способен ни на побег, ни на сопротивление и только закрыл глаза, чтобы не чувствовать на себе жуткий взгляд Сифилиса, который проникал сквозь стены. Однако он ощущался и с закрытыми глазами, отчего дез Эссент задрожал и покрылся холодным потом. Он уже со всем смирился и лишь надеялся, что чудовище сжалится и прикончит его одним ударом. Минута показалась ему вечностью. Трепеща, он открыл глаза: все как дым унеслось. Произошла резкая смена места действия и декораций, и теперь перед ним открылся пересеченный ущельями суровый горный кряж, удел безжизненный и серый. По этой юдоли скорби разливался маслянистый тускло-белый свет, напоминавший о мерцании фосфора.

Неожиданно горный хребет пришел в движение и стал донельзя бледной обнаженной женщиной, ноги которой были затянuty в зеленые шелковые чулки.

Дез Эссент с любопытством смотрел на незнакомку. Ее ломкие волосы, точно после раскаленных щипцов, вились мелкими кудряшками. Из ушей, подобно серьгам, свешивались мешочки непентеса. Разрез ноздрей открывал утомленную плоть. Опустив веки, женщина шепотом позвала его.

Не успел он и шевельнуться, как она переменялась. Зажглись глаза. Запламенели, как антурий, губы. Стали твердыми красные, как перец, соски.

И вдруг его осенило. «Это же цветок», — догадался он. Внезапная догадка объяснила истоки кошмара и заставила вернуться к прежнему сну о сифилисе.

Приглядевшись, дез Эссент различил на груди и губах незнакомки рыжеватые и коричневые пятнышки, а затем и сыпь на теле. Он опешил и отпрянул в сторону. Однако ее глаза были колдовскими, и он стал медленно приближаться к ней, хотя и упирался как мог и пытался упасть. Он уже почти ее коснулся, как вдруг подле него вырос лес черных аморфофаллосов и закрыл собой волнующуюся, как море, плоть. Он раздвигал и отталкивал теплые гибкие стебли и с омерзением видел, как они заплетают ей руки. Вдруг отвратительные растения исчезли, и она потянулась обнять его. От страха сердце дез Эссента застучало как молот, когда горящие глаза незнакомки стали светлеть и сделались до жути холодными и голубыми. Нечеловеческим усилием он попытался уклониться от ее ласк, но она властно притянула его к себе и заключила в объятия, а он с ужасом увидел, как запунцовел свирепый нидуларий, показал свое кровоточащее горло, раскрыл губы-бритвы.

Дез Эссент уже почти припал к мерзкой цветочной ране и чувствовал, что умирает, как неожиданно, подброшенный в воздух, проснулся в ледяном поту и, обезумев от страха, с облегчением выдохнул: «Это всего лишь сон. Слава тебе, Господи!»

ГЛАВА IX

Дез Эссента снова стали мучить по ночам кошмары. Он попытался бороться со сном, то бодрствуя и ворочаясь с боку на бок, то в забытьи погружаясь в жуткие грезы, когда он, словно оступаясь и скатываясь вниз по лестнице, падал в бездонную пропасть.

Утихший было невроз в последние дни возник вновь, обострился, стал разнообразней.

Его начало раздражать одеяло. Он задыхался в простынях, его или знобило, или бросало в жар; в ногах кололо. К тому же началась тупая боль в челюстях, а виски сжало, точно в тисках. Усилилось чувство тревоги. К сожалению, должных средств борьбы с неврозом не было. Гидротерапию устроить в ванной комнате не удалось. Дом расположен был слишком высоко. Получать воду в нужном количестве на подобной высоте оказалось сложно. В округе расходовали ее скупно, да и то в определенное время. Устроить душ для массажа позвонков, от которого полностью проходили бы бессонница и тревога, у него также не получилось. Поэтому он ограничился краткими водными процедурами в тазу или ванне с последующим сильным растиранием волосистой мочалкой, в чем ему помогал слуга.

Но эти ополаскивания не излечивали невроза. Они приносили недолгое облегчение, но затем приступы становились сильнее и мучительней.

Дез Эсеент совсем приуныл, и экзотические цветы уже не радовали. Он пресытился и формой их, и красками. К тому же многие из них, несмотря на хороший уход, зачахли. Он велел вынести цветы вон, но в своем нынешнем нервном состоянии раздражался, поскольку вид опустевших комнат был для него неприятен.

Чтобы развлечь себя и занять время, он начал разбирать папки с эстампами и занялся Гойей. Его увлекли купленные на распродаже первоначальные варианты «Капричоса»¹, стоившие целое состояние и узнаваемые по своему красноватому тону. Он погрузился в них, плененный фантазией художника. Его притягивали немыслимые сцены: ведьмы верхом на кошках, женщины, вырывающие зубы у повешенного, злодеи, суккубы, демоны, карлики.

Потом он перебрал офорты и акватинты других серий: мрачные «Пословицы», полные ярости и исступления «Бедствия войны» и, наконец, лист из «Гарроты». Ему особенно нравился этот дивный пробный оттиск на толстой бумаге с проступавшими на нем водяными знаками в виде линий.

Страстность и суровая мятежность гения Гойи приводили дез Эссента в трепет. Однако повальное восхищение художником слегка отвратило его от испанца, и он перестал обрамлять вещи Гойи и вешать их на стены из опасения, что первый же кретин при виде этих картин сочтет за долг изображать восторг и нести заученную чушь.

То же самое касалось и Рембрандта. Дез Эссент смотрел его изредка, украдкой. Что говорить, самая прекрасная на свете мелодия становится самой ужасной, отворачи-

¹ «Капричос» — мир, воспетый испанским художником Франсиско Гойей, своеобразная иллюстрация некоторых демонологических трактатов находящаяся в библиотеке дез Эссента, в частности вышедшей в 1821 г. книги Бербигье «Фаарфаде, или Все демоны из этого мира».

тельной и невыносимой, как только толпа бросается насвистывать ее, а оркестры берутся за исполнение на концертах! Равным образом и живопись увлекает как избранных, так и профанов и, соответственно, опошляясь и вульгаризируясь, чуть ли не отвращает от себя посвященных.

Общность вкуса с кем-либо крайне расстраивала дез Эссента. Шумный успех иных картин и книг расхолаживал его, и, когда толпа бралась за их восхваление, он, вдруг начиная видеть в них уязвимые места, отказывал им в благоволении, говоря себе, что прежде ошибся в оценке.

Но вот дез Эссент закрыл папки с рисунками. И снова почувствовал, что напрочь выбит из колеи. И снова захандрил. Чтобы успокоиться и дать нервным клеткам перевести дух, он взялся за лекарственное чтение – за тот легкий книжный десерт, который хорош при неважном настроении или при щадящем питании, предписанном при выздоровлении от тяжелого недуга. Короче говоря, дез Эссент взялся перечитывать Диккенса.

Однако диккенсовские романы произвели на него совершенно обратное действие. Их персонажи были целомудренны, а героини-пуританки ходили в застегнутых до подбородка платьях. Любить – означало для них лишь гулять при луне, опускать глаза, краснеть, плакать от счастья и пожимать друг другу руки. От этой чрезмерной чистоты дез Эссент впал в противоположную крайность и по контрасту стал припоминать сцены из других романов, посвященные любовным утехам и долгим поцелуям – голубиным, как именуют их благочестивцы стыдливости ради.

Он бросил чтение, отрекся от недотроги-Англии и начал грезить об осужденных церковью похоти, гульбе, капризах воображения. От вызванного этими грезами волнения крови у него прошла анафродизия, которую он счи-

тал у себя вечной. Но напомнило о себе одиночество: пришел черед нового нервного расстройства. Оно было связано с наваждением. Правда, на сей раз мысли дез Эссента занимала не вера, а подрывающие ее большие и малые прегрешения. Только они, вечный предмет ее проклятий, теперь преследовали дез Эссента. Благочестивое чтение вкупе с неврозом и английским ханжеством заставили пробудиться и заявить о себе плоть, уснувшую много месяцев назад. Кровь воспламенилась, и чувства, ожив, увлекли его в прошлое, погрузив дез Эссента в воспоминания о притонах минувших дней.

Он встал и с грустью открыл позолоченную, усыпанную авантюринами коробочку.

Она была доверху наполнена конфетами фиолетового цвета. Дез Эссент взял одну и легонько сжал, припомнив странное свойство этих помадок, от сахара словно заиндевевших. Раньше, когда половое бессилие настигало его и он думал о женщине без всяких терзаний, обид и жажды обладания, то клал в рот одну такую конфетку и вдруг с какой-то неопишуемой истомой и негой припоминал свои старинные и почти забытые похождения.

Помадка эта изобретена была Сироденом и называлась «Пиренейская жемчужина». В нее добавлялся саркант, и он заполнял ее, точно капля некоего женского эликсира. Сладкий нектар растекался по кебу и будил смутные воспоминания о жемчужном бисере жгучей, словно небывалый уксус, слюны, о поцелуях долгих, благоуханных.

Прежде эти вбираемые им ароматы страсти и ласк вызывали у него, как правило, улыбку. Они мало-помалу навевали грезу наготы и на миг вызывали из небытия ощущение некогда столь любимых им женщин. Но теперь вкус помадки прекратил свое тайное действие и перестал напоминать о далеком, забытом. Более того, ныне он, не

оставив места для покрова и тайны, явил дез Эссенту образы грубые и по-плотски осязаемые.

Сладость леденца сделала лица его возлюбленных зримыми. Целая вереница красоток прошла перед ним, пока та, что возглавляла это шествие, не остановилась. У этой прелестной блондинки были ровные белые зубы, гладкая розовая кожа, тупой нос, глазки-бусинки и короткая, как у болонки, стрижка.

Ее звали мисс Урания. Эта хорошо сложенная, с нервными ногами, сильной и крепкой хваткой рук американка слыла отличной цирковой акробаткой.

Дез Эссент подолгу наблюдал за ней на представлениях. Поначалу он воспринимал ее такой, какой она была, — красивой, крепкой, но не испытывал ни малейшего желания узнать ее ближе. В ней не заключалось ничего такого, что могло бы привлечь человека пресыщенного, и все же он снова и снова приходил в цирк, не понимая причины и цели своих визитов.

Со временем при взгляде на нее к нему стала приходиться странная мысль. Чем больше он любовался ее силой и ловкостью, тем яснее видел в ней искусственную перемену пола. Делались незаметными обезьянья ловкость и дамские ужимки, а вместо них заявляли о себе сноровка и мощь самца. Иными словами, поначалу явно женщина, затем нечто промежуточное, почти гермафродит, циркачка в конце концов приобрела образ мужчины.

«Если верзила способен влюбиться в нежную и хрупкую девочку, значит, и эта силачка может найти что-то в таком малокровном и слабом человеке, как я», — подумал дез Эссент. Погрузившись в размышления о своей персоне и различные сравнения, он пришел к заключению, что и сам становится все более женственным, и, в итоге окончательно влюбившись в циркачку, стал мечтать о ней по-

добно тому, как анемичная девица грезит о геркулесе, способном раздавить ее в своих объятиях.

Подобная перемена ролей невероятно возбудила дез Эссента. «Мы же с ней созданы друг для друга», — решил он. И теперь его уже не ужасала, а приводила в восхищение ее звериная сила и вдобавок начала притягивать к себе грубость ласк и беспринципность похотливой любви. Для него было наслаждением заплатить бешеные деньги угодливому олуху-сутенеру.

И, мечтая об оболыщении акробатки и возможности превращения мечты в реальность, он мечту эту как бы возвел в общий принцип. Приписав циркачке собственные мысли и желания, дез Эссент был уверен, что артистка жаждет того же, что и он, когда с искусственно застывшей улыбкой взлетает на трапеции.

И вот наконец он обратился за помощью к контролерам. Мисс Урания не захотела уступить сразу, без предварительного ухаживания. Однако и не слишком долго сопротивлялась, потому что по слухам знала, что дез Эссент богат и его имя способствует успеху привлекательной женщины.

Но, едва он удовлетворил желание, как пришло самое горькое разочарование. Дез Эссент воображал, что за циркачкиным тупоумием скрывается звериная ограниченность ярмарочного силача, а столкнулся, увы, с обычной бабьей глупостью. Да, конечно, циркачка была по-первоначальному неотесанной, грубой и безмозглой и за столом вела себя по-свински, но получалось, что главное в ней — женская инфантильность. Она несла всякую околесицу и кокетничала, как пустая девчонка. Никакого перехода от женского начала к мужскому в ней не было и в помине.

Да еще при всем том в постели она вела себя пуритански сдержанно. Не наделена она была ни теми ухватками

атлета, которых дез Эссент и боялся, и жаждал, ни, вопреки его тайной надежде, противоестественными склонностями и капризами. Не исключено, что если бы он разобрался в своих пристрастиях, то, может, понял бы, что на деле его влечет к кому-то хрупкому и слабому, к темпераменту не отличающемуся от его собственного. И тогда он бы и вовсе обнаружил в себе склонность не к барышне, а к озорному парню, смешному тощему клоуну.

Однако дез Эссент снова обрел свое на время утраченное мужское лицо. Чувство женственности своей природы, связанные с этим страхи, также оплаченная звонкой монетой жажда подчиниться некоему покровителю исчезли. Обманываться было невозможно. Мисс Урания оказалась самой заурядной любовницей и ни в коей мере не удовлетворяла художество Дезэссентова ума, которое сама же и привела в действие.

Поначалу, правда, прелесть молодого тела и дивная красота поразили и увлекли его, но очень скоро он начал тяготиться этой связью и ускорил разрыв, ибо ощущал, как обостряется его преждевременное бессилие из-за холодных и отмеренных ласк.

Но мисс Урания была первой, кого он вспомнил из бесчисленных любовниц. Впрочем, представилась она ему во главе процессии всех прочих, не столь мускулистых, но куда более пламенных красоток, как раз потому, что напоминала полного сил хищника. Именно ее здоровый дух контрастировал с его собственной болезненностью, которая вдохновлялась ароматом нежной сироденовой конфетки.

Итак, мисс Урания возникла в его памяти в качестве антитезы. Но напомнивший о себе ее грубый природный запах тотчас остановил дез Эссента. Он предпочел погрузиться в атмосферу тонких ароматов и потому попытался вспомнить других возлюбленных. В его воспоминаниях

они все слились вместе и не отличались друг от друга. Отчетливее остальных он помнил женщину, уродство которой долгие месяцы приносило ему наслаждение.

Была она миниатюрной темноглазой брюнеткой с напомаженными, словно по ним прошла кисточка, волосами и косым, почти от самого виска, мальчишечьим пробором. Он познакомился с ней в кабаре, где та выступала чревовещательницей.

Публике становилось не по себе, когда на сцене артистка заставляла говорить сидящих в ряд картонных кукол, и они становились как бы живыми. При этом в зале были слышны жужжание мух и шепотки зрителей, которые вдруг начинали подсакивать в своих креслах в испуге, что сидят у самой мостовой, по которой с грохотом проносятся, почти касаясь их, незримые экипажи.

Дез Эссент пришел в восторг. У него родилась масса идей. Для начала он заткнул чревовещательнице рот банкнотами. Артистка понравилась ему именно благодаря тому, что была противоположностью американской циркачки: пахла искусственно, нездорово и коварно и напоминала проснувшийся вулкан. Несмотря на все ухищрения, дез Эссент через несколько часов знакомства оказался совершенно опустошенным. Вместе с тем он, не сопротивляясь, отдал себя чревовещательнице на съеденье, ибо артистическое начало в ней влекло его несравнимо больше, чем любовное.

Это вписывалось в окончательно выношенный им план. Он решился осуществить то, что ранее ему было недоступно.

Однажды вечером в дом внесли заказанных им небольшого сфинкса из черного мрамора с классически вытянутыми вперед лапами и разноцветную химеру с лохматой гривой, хвостом, свирепым взглядом и раздутыми, как кузнеч-

ные мехи, боками. Дез Эссент поставил обоих истуканов в угол, погасил свет и развел огонь в камине. Пламя едва освещало комнату, и в полумраке все выросло в размерах.

Дез Эссент расположился на канаве подле женщины, чье лицо алело в отсветах огня, и приготовился слушать.

С необычной интонацией, которую он показал ей заранее, она озвучила уродцев, даже не глядя в их сторону, не шевеля губами.

И в ночной тиши раздался восхитительный диалог Химеры и Сфинкса. Они заговорили гортанными нутряными голосами, то хриплыми, то пронзительными, почти нечеловеческими.

«— Подойди, Химера, встань рядом.

— Нет, никогда».

Убаюканный флоберовской прозой, он с волнением прислушивался к жуткому разговору и затрепетал при волшебных звуках торжественной фразы Химеры:

«Ищу необычные запахи, невиданные цветы, неизведанные наслаждения».

О, конечно, для него были сказаны эти таинственные, как заклинание, слова; и, конечно, ему сообщала Химера о своей жажде неведомого, неутолимой мечты, о желании побега от мерзкой повседневности, о преодолении границ мысли, о не знающих конца и цели блужданиях наугад в мистических пределах искусства! Дез Эссент понимал, сколь мало дано ему, и от этого сердце его сжалось. Он молча обнимал сидевшую рядом женщину, подобно плачущему ребенку, пытаясь найти у нее утешение, и даже не замечал, как она угрюма, как мрачна оттого, что вынуждена ломать комедию и чрево вещать не на сцене, а вне ее, в минуты отдыха.

Связь их продолжалась, но истощение сил бывало у дез Эссента все чаще. Умственное возбуждение не сменялось телесным. Нервы не подчинялись воле. Плотское безумств-

во старости взыграло тогда в нем. И он, чувствуя все возрастающую неуверенность в своих силах, прибег к самому действенному возбудителю немощной старческой плоти — страху.

И вот, когда он держал женщину в объятиях, за дверью словно раздавался хриплый пьяный голос: «А ну открывай! Я знаю, с кем ты! Сейчас я с тобой расправлюсь, дрянь!» И в мгновение ока, подобно распутникам, которые возбуждаются, если их застанут с поличным где-нибудь под открытым небом у воды, или в саду Тюильри на садовой скамейке, или в номерах, дез Эссент ненадолго снова обретал силы, и, пока голос чревоушательницы басил и ругался за дверью, он набрасывался на нее и испытывал неслыханное наслаждение от ругани, от собственного испуга, будто ему и впрямь пригрозили, помешав спокойно предаваться грязным играм.

Но, увы, эти свидания скоро прекратились. Хотя и платил он чревоушательнице огромные деньги, она оставила его и тут же продалась другому, менее капризному и более выносливому.

О чревоушательнице дез Эссент очень жалел, и в сравнении с ней, ни с кем не сравнимой, остальные женщины казались ему тусклыми и скучными, а их детские ужимки — пошлыми. Он стал до того презирать это убогое кривляние, что и вовсе не мог их теперь видеть.

И вот однажды, когда, с отвращением думая об этом, он гулял в одиночестве по улице Латур-Мобур, неподалеку от Инвалидов, к нему подошел молодой человек, почти мальчик, и спросил, как удобней всего пройти на улицу Бабилон. Дез Эссент объяснил ему и, поскольку шел в том же направлении, отправился вместе с ним.

Неожиданно юноша заговорил, снова спрашивая о дороге и уточняя свой маршрут: «Значит, по-вашему, налево

идти дальше. А меня уверяли, что если свернуть, то дойдешь быстрее». Голос его был умоляющ и застенчив, звучал и тихо, и ласково.

Дез Эссент посмотрел на него. Юнец, казалось, прогуливал уроки. Его костюм не производил впечатления: шевиотовый, тесный в боках пиджачок, черные узкие брючки, рубашка с отложным воротником, темно-синий, в белую полоску, пышный галстук «ла вальер». В руке у него была тетрадь в картонной обложке, на голове — котелок.

Подросток запоминался, но и вызывал некоторое смущение: кожа бледная, черты лица удлиненные, но довольно правильные; из-под длинных черных волос смотрят большие, влажные, близко посаженные глаза, под глазами круги, на носу золотистые веснушки, рот маленький, но пухлый, на нижней губе ложбинка, как на вишенке.

Мгновение они смотрели друг другу в лицо, потом юноша замедлил шаг, его рука коснулась руки дез Эссента, и тот пошел медленней, задумчиво любуясь его легкой походкой.

Из этой случайной встречи возникло на долгие месяцы странное темное знакомство. Дез Эссент с дрожью думал о нем. Никогда доселе он не сталкивался с чем-то столь влекущим к себе и властным! Ни одна связь так не пугала и не удовлетворяла его!

Теперь воспоминание именно об этом взаимном расположении казалось ярче всех прочих. Подействовали дрожжи распутства, какие таит в себе перевозбужденный от невроза мозг, — тесто забродило. Наслаждаясь воспоминаниями о былых грехах, или, как сказала бы церковь, «блудными помыслами», он примешивал к телесным образам умственные, подогретые чтением казуистов — вся-

ких занятых толкованием шестой и девятой заповедей Бузембаумов², Диан³, Лигюори⁴ и Санчесов.

Вера зародила в его душе сверхчеловеческий идеал, к которому дез Эссент, возможно, был предрасположен по линии своих предков еще со времен Генриха III. И эта же вера, возбудив в нем стремление к идеалу, развила и мечту о невозможной, непозволительной страсти. И ныне его преследовали как низкие, так и возвышенные образы. Они переполняли его жаждущий мозг, звали вырваться из мировой пошлости, порвать с общепринятым, предаться особым наслаждениям, пройти через потрясения небесные или адские, но равно губительные, ибо грозили организму потерей фосфора.

Наконец он очнулся от всех мечтаний, совсем разбитый и уничтоженный. Едва живой, дез Эссент тотчас зажег все лампы и свечи и, залив всю комнату светом, почему-то решил, что так глухой, прерывистый, упорный стук крови в голове делается хотя бы немного тише.

²Бузембаум, Германн (1600–1668) – немецкий иезуит, теолог и моралист.

³Диана, Антонио (1585–1663) – итальянский теолог и казуист.

⁴Лигюори, Альфонс Мари де (1696–1787) – святой, итальянский теолог и миссионер.

ГЛАВА X

Во время подобной болезни, нередко истребляющей весь род до последнего потомка, чаще всего после кризиса наступает заметное облегчение. Так что в одно прекрасное утро дез Эссент, сам не зная почему, проснулся вдруг совершенно здоровым. Ни тебе изнурительного кашля, ни стука молоточка в затылке. Невыразимо блаженное состояние, легкая голова и ясные мысли – не мутно-сине-зеленые, а светлые, нежные, радужные, как мыльные пузыри.

Блаженство длилось несколько дней. Но однажды ближе к вечеру начались галлюцинации обоняния.

В комнате запахло франгипаном – итальянскими духами. Дез Эссент посмотрел по сторонам, не стоит ли где открытый флакон. Никакого флакона он не обнаружил. Он заглянул в кабинет, в столовую: запах проник и туда.

Он позвонил слуге. «Вы не чувствуете, чем это пахнет?» – спросил он. Старик заверил, что ничем не пахнет. Становилось ясно: невроз вернулся, вернулся в виде иллюзии обоняния.

Наконец дез Эссент изнемог от этого благоухания, стойкого, но мнимого, и решил подышать настоящими ароматами, надеясь, что такая гомеопатическая мера излечит его или по крайней мере избавит от назойливого франгипана.

Дез Эссент пошел в кабинет. Там, у старой купели, служившей чашей для умывания, под большим зеркалом в ко-

ваной лунно-серебристой раме, которая, словно стены колодца, обрамляла мертвую зеркальную зелень воды, на полочках из слоновой кости стояли флаконы всех форм и размеров.

Дез Эссент переставил их на стол и разделил на две группы: флаконы простых духов, а иначе говоря, настоянных на экстрактах или спирту, и флаконы духов необычных, с «букетом».

Затем он уселся в кресло и сосредоточился.

Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение, — все эти чувства, в зависимости от образованности и способностей человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза. Мало кто способен при отсутствии знаний или интуиции отличить подлинного живописца от имитатора и Бетховена от Клапписсона¹. Тем меньше оснований без соответствующей выучки не спутать букет, который составлен подлинным художником, с той заурядной парфюмерной смесью, что предназначена для продажи во всяких лавках и лавочках.

В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала дез Эссента больше всего.

И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал

¹Клапписсон, Антуан Луис (1808–1866) – французский оперный композитор.

только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.

И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.

Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень.

Постепенно тайны этой мало ценимой разновидности искусства открывались дез Эссенту. И теперь он понимал язык парфюмерии, столь же богатый и выразительный, как и язык литературы, но вместе с тем еще более лаконичный, хотя при первом ощущении расплывчатый и неясный.

Но, чтобы постигнуть этот язык, ему пришлось прежде поломать голову над его грамматикой, разобраться в синтаксисе ароматов, а также вызубрить правила, которым они подвластны. А как только язык был усвоен, дез Эссенту пришлось заняться и сопоставлением открытий мэтров-парфюмеров, среди которых были и Аткинсон², и Лю-

²*Аткинсон, Томас Уитлэм (1799–1861) – английский художник, архитектор, путешественник.*

бен, и Шарден³, и Вьолет, и Легран, и Пиесс. Он дробил их фразу, вычислял удельный вес каждого слова, анализировал технику речевых оборотов.

Однако лишь практический опыт мог подтвердить или опровергнуть теоретическое знание, само по себе неполное и формальное.

Классическая парфюмерия была довольно скучной и однообразной и оставалась такой, какой ее создали древние алхимики. Она бормотала нечто невразумительное, поглощенная своими колбами и ретортами. Но вот наконец пришла романтическая эпоха и, преобразив ее, сделала молодой, гибкой, отзывчивой к новым веяниям.

История парфюмерии вторила истории французского языка.

Парфюмерный стиль эпохи Людовика XIII сложился из ценимых в то время ирисового порошка, мускуса, лука-скороды и миртовой, или, как ее уже тогда именовали, ангельской воды. И этих составных частей едва хватало, чтобы вслед за сонетами Сент-Амана⁴ найти ароматическую формулу рыцарского изящества эпохи. Позднее, при помощи мира и ладана, этих властных мистических запахов, был найден ключ к претенциозности золотого века, к имитации возвышенного и витиеватого слога ораторского искусства – размашистого многословия Боссюэ⁵ и законодателей проповеднической моды. Еще позднее франгипан и

³Шарден, Жан Батист Симеон (1699–1779) – французский художник, писал портреты, натюрморты, считался мастером цвета.

⁴Сент-Аман, Марк Антуан Жерар де (1594–1661) – французский гуманист, поэт, игнорировал латынь, знал английский, итальянский, испанский языки. Увлекался математикой, общался с Галилеем.

⁵Боссюэ, Жак (1627–1704) – прелат, писатель и христианский проповедник, гениальный оратор. Боролся против протестантов.

уголь для раздувки кузнечных мехов уже без особых затруднений как бы примирили эпоху Людовика XV с ее ученой и усталой грацией. Затем пришла ленивая и нелюбопытная Первая империя, пора одеколонов и розмариновых настоек. Парфюмерия по следам Гюго и Готье⁶ устремилась на Восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии и неожиданные, доселе немыслимые контрасты и, произведя переоценку старого арсенала средств, утончила их, привела в согласие с новым общим смыслом. Кроме того, она наконец решительно отвергла нарочитую старческую, к которой приговорили ее разные Малербы, Буало, Андрие⁷, Баур-Лормианы⁸, все эти не знающие меры пуристы поэтического языка.

Но развитие парфюмерии в 1830 году не остановилось. Она менялась вместе с веком и шагала вперед рука об руку с другими искусствами. Так, отвечая пожеланиям коллекционеров и художников, обратилась она к темам китайским и японским и, создав альбомы ароматов, подражала цветочным букетам Такеоки, получая в лавандово-гвоздичной смеси запах ронделлеции, в соединении пачулей и камфары – диковинный привкус китайской туши, а в сочетании лимона, гвоздики и нероли – благоухание японской овениии.

Дез Эссент изучал квинтэссенцию ароматов, исследовал и толковал их тайнопись. Для собственного удоволь-

⁶*Готье, Теофиль (1811–1872) воспел Восток в нескольких книгах, в частности «Фортунио», «Роман Муммии», в новеллах «Ночь Клеопатры», «Павильон на воде», «Тысяча вторая ночь», а также в стихотворениях. Виктор Гюго выпустил сборник восточных стихов «Ориенталии» в 1829 г.*

⁷*Андрие, Франсуа (1759–1833) – французский писатель, автор нескольких комедий, постоянный секретарь французской Академии.*

⁸*Баур-Лормиан, Пьер Франсуа Мари (1770–1854) – французский поэт и драматург. Перевел на французский язык поэзию Оссиана.*

ствия он был то психологом, то механиком, который, пре-парируя запах, а затем вновь воссоздавая его, раскрывает секрет благоухания. Подобные опыты сделали его обоняние изощренным и практически не знающим промахов.

Винодел, к примеру, отведав всего лишь каплю вина, укажет на марку напитка; торговец хмелем определит его стоимость по запаху; поставщик чая из Китая также по запаху скажет, откуда чай, определит, в какой части Бохайских гор или в каком буддийском монастыре он выращен, уточнит, когда собран, назовет температуру сушки и даже установит не только какие растущие неподалеку деревья – слива ли, аглая, олива пахучая – на этот чайный куст влияли, но и как их запахи действовали на природу чайного листа, либо неожиданно высветлив его, либо смешав с суховатым букетом чая влажный дух цветов долины. Сходным образом дез Эссент, едва почувствовав даже не запах, а слабый аромат духов, мог тотчас перечислить все их компоненты, объяснить суть их взаимодействия, а также чуть ли не назвать имя художника, создавшего этот аромат или передавшего в нем особенность своего стиля.

Разумеется, дез Эссент собрал коллекцию всевозможных духов. У него был даже подлинный бальзам из Мекки, который изготавливается лишь в Петрейской Аравии и все права на его производство принадлежат Великому султану.

И теперь дез Эссент сидел за столиком в своей туалетной комнате и, погруженный в мечты о создании нового аромата, был охвачен той нерешительностью, которая знакома всякому писателю, приступающему к работе после долгого перерыва.

Подобно Бальзаку, непременно переводившему для разминки целую кипу бумаги, чтобы взяться за что-то серьезное, дез Эссент нуждался в предварительном опыте

на каком-нибудь пустяке. Он решил было изготовить парфюм гелиотропа, взял флаконы с миндалем и ванилью, но, передумав, решил заняться душистым горошком.

Однако никаких идей ему в голову так и не пришло; с чего начать, он не знал и стал продвигаться наугад. В сущности, в этом запахе много апельсина. Он сделал несколько произвольных сочетаний и наконец нашел нужную комбинацию, добавив к апельсину туберозу, розу и каплю ванили.

Неуверенность прошла. Теперь дез Эссент испытывал даже легкое нетерпение и весь ушел в работу. Смешав касию с ирисом, он придумал новый эликсир, а затем, почувствовав в себе прилив энергии, двинулся дальше и решил взять гремющую ноту, чтобы сполна заглушить все еще слышавшийся в комнате лукавый шепоток франгипана.

Он выбрал амбру, острый тонкинский мускус и пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде. Но, что бы ни предпринималось дез Эссентом, все равно ничто не могло изгнать из комнаты назойливого присутствия XVIII века. У него перед глазами стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты «Венер» Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой ватой. Вспоминались также роман Фемидора и неутешная печаль прелестной Розетты. Дез Эссент вне себя вскочил на ноги. Чтобы покончить с этим наваждением, он глубоко, как только мог, вдохнул аромат нарда, который столь любят азиаты, но за явное сходство с запахом валерьяны недолголюбивают европейцы. Сила запаха, напоминавшая удар кувалды по тонкой филиграни, оглушила его. От назойливого визитера не осталось и следа. Воспользовавшись передышкой, дез Эссент покинул пределы минувших столетий и на смену старым ароматам обратился к современным, куда более гибким и неизведанным.

Некогда он любил убаюкивать себя ароматическими аккордами. В этом ему помог поэтический прием – эффект бодлеровских «Непоправимого» и «Балкона», где последнее пятистишие перекликалось с первым и этим возвращением – рефреном – точно погружало душу в бесконечную меланхолию и истому.

Ароматы поэзии будили в нем мечты, то более далекие, то более близкие в зависимости от того, сколь регулярно в многоголосице ароматов стихотворения напоминал о себе напев печальной темы.

Вот и сейчас ему захотелось выйти на радующий глаз простор. И тут же перед ним открылся вольный деревенский пейзаж.

Сначала он опрыскал комнату амброзией, митчамской лавандой и душистым горошком, то есть смесью, которая оправдывает, если ее составил настоящий художник, свое название – «экстракт цветущего луга». Потом он освежил этот луг туберозово-миндальной эссенцией с добавкой апельсиновой корки – и сразу запахло сиренью, медовой сладостью лондонской липы.

Этот быстрый, в несколько штрихов, набросок превратился для полусмежившего глаза дез Эссента в бесконечную даль, которую он слегка затуманил атмосферой женской и едва ли не кошачьей, когда к запаху юбок, пудры и румян добавил стефанотиса, айяпаны, опопонакса, шипра, шампаки и сарканта. В полученную смесь он капнул жасмина, чтобы все эти прикрасы, приправленные хохотом, потом и жарким солнцем, казались не столь уж неестественными.

Затем дез Эссент взял в руки веер, разогнал собравшиеся было облака и оставил нетронутым лишь запах деревни, который, то исчезая, то появляясь вновь, стал подобием песенного припева.

Но вот постепенно сделались незримыми женские юбки. Опустела и деревня. И тогда на воображаемом горизонте появились заводы, над которыми, как гигантские кубки с пуншем, дымили трубы.

На этот раз ветерок, поднятый Дезэссентовым веером, принес запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий.

Опыты дез Эссента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стиракса, и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью гуттаперчи и угольного масла. Дез Эссент протер руки, спрятал стираксовый шарик в пузырек с плотно завинчивающейся крышкой. Запах фабрики улетучился, и снова ожил аромат луга и липы. Дез Эссент разбавил его несколькими каплями настойки «new town hay»⁹, и вот в воображаемом селении не стало сирени. Ее заменило сено: пришло новое время года, а с ним наступил черед и новых запахов.

Наконец дез Эссент сполна насладился всем, чем только хотел.

Затем он без промедления взялся за экзотические экстракты и для большей силы аромата выпустил на волю все оставшиеся во флаконах благовония. В комнате стало чудовищно душно: бурные вздохи разгулявшейся природы были ни на что не похожи. В этом искусственном сочетании несочетаемого заключалась определенная броскость и прелесть. Дух тропических перцев, китайского сандала и ямайской гедиосмии соседствовал с чисто французским запахом жасмина, вербены и боярышника. На свет вопреки всем законам природы и временам года появились самые немислимые цветы и деревья. Среди этого многообразия и смешения ароматов было и нечто неразложимое —

⁹*New town hay* (англ.) — свежескошенное сено.

запах безымянный, незванный, неуловимый. Он-то и будил в памяти настойчивый образ начальной декоративной фразы – благоухания луга, липы и сирени.

Неожиданно дез Эссент ощутил сильную боль. У него страшно закололо в висках. Когда он очнулся, то увидел, что сидит за столиком в своей туалетной комнате. Нетвердыми шагами он с трудом подошел к окну и открыл его. Свежий воздух ворвался в душную комнату. Чтобы размяться, дез Эссент стал ходить взад-вперед, наблюдая, как на потолке ползают крабы среди пропитанных солью водорослей, своим цветом напоминавших светлый морской песок. Плинтусы были также светлого цвета, а панели стен, обитые японским жатым крепом, – бледно-зеленого. По этой волнующейся поверхности плыл лепесток розы, а вокруг него, выведенные одним росчерком пера, резвились рыбки.

Но голова у дез Эссента все еще побаливала. Он перестал шагать из угла в угол и облокотился на подоконник. Головокружение прекратилось. Он плотно закрыл флаконы и заодно решил навести порядок в своих туалетных принадлежностях. С момента переезда в фонтенейский дом он к ним не притрагивался. И теперь был поражен богатством собственной коллекции, которая привлекала пытливым интерес не одной красавицы. Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка со шнудой, тем восхитительным белым кремом, который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создает эффект яркого румянца. А вот в пузырьках, инкрустированных ракушками, – лаки: японский золотой и афинский зеленый, цвета шпанской мушки; другие золотые и зеленые, способные менять свой оттенок в зависимости от концентрации. Далее шли баночки с ореховой пастой, восточными притира-

ниями, маслом кашмирской лилии, а также бутылочки с земляничным и брусничным лосьонами для кожи лица. Рядом с ними располагались китайская тушь и розовая вода. Подле попеременно со щетками для массажа десен из люцерны находились разнообразные приспособления и приспособленьица из кости, перламутра, стали, серебра и прочих материалов, наподобие щипчиков, ножничек, скребков, растушевок, лент, пуховок, чесалок, мушек и кисточек.

Он перебрал все эти предметы. Когда-то он обзавелся ими по настоянию одной из своих возлюбленных, от некоторых ароматов и запахов падавшей в обморок. Дама была нервной, истеричной, обожала умашать свой бюст благовониями, но настоящее, высшее наслаждение испытывала лишь тогда, когда в разгар ласк умудрялась почесать гребнем голову или вдохнуть запах сажи, известки, которую смочил дождь, а также дорожной пыли, прибитой летним ливнем.

Дез Эссенту припомнилось и другое. Он восстановил в памяти, как однажды вечером, не зная, чем заняться, из любопытства отправился с ней к ее сестре в Пантэн. И тотчас ожил в его воспоминаниях целый мир забытых мыслей и запахов. Пока сестры болтали и хвастались платьями, он подошел к окну и сквозь пыльное стекло увидел грязную улицу и услышал шлепанье галош по лужам.

Эта картина, уже очень далекая, вдруг возникла перед ним с какой-то особенной четкостью. Пантэн, как живой, отражался в синевато-зеленоватом зеркале мертвой воды. Это отражение бессознательно притягивало дез Эссента. Он совершенно забыл о Фонтенее. Зеркало и улица вызвали к жизни старые мысли и наблюдения – стройные, грустные, несущие утешение. Он записал их тогда сразу же по возвращении из Пантэна в Париж:

«Да, пришло время больших дождей. И хлещет из водосточных труб, и журчит на мостовой вода. Навоз раскисает в лужах, и навозное кофе с молоком наполняет любое углубление. На каждом шагу прохожие принимают ножные ванны.

Небо низкое, дышать нечем, дома в черном поту. Из вентиляционных отдушин – вонь. Существование все гадже. Тоскливо. Дают всходы и начинают зацветать семена мерзости в человеческой душе. Трезвенник жаждет напиться как свинья, человек порядочный – совершить преступление.

Я же тем временем греюсь у камина. На столе корзина с цветами, наполняющими комнату восхитительным ароматом бензойной смолы, герани и ветивера. Здесь, в Пантэне, на рю де Пари, в самый разгар ноября царит весна, и я посмеиваюсь над трусливыми семействами, которые от наступающих холодов удирают на Антибы и в Канны.

Но случившееся – вовсе не фокус жестокой природы. Пусть Пантэн поблагодарит промышленность за эту искусственную весну!

Ее цветы – из тафты и латуни, а ее запахи проникают сквозь оконные щели. Их породили дымки окрестных фабрик да парфюмерное производство Пино и Сент-Джеймса.

И – спасибо парфюмерам – иллюзия свежего воздуха доступна теперь как уставшим от непосильного труда мастеровым, так и мелким чиновникам, зачастую отцам многочисленных семейств.

Кроме того, благодаря этой иллюзии сделался возможным весьма мудрый способ лечения. Ведь чахоточные, посланные на юг, умирают в отрыве от родного дома, в глухой тоске по столичным излишествами, по причине которых и заболели. Но тут, в атмосфере искусственно поддерживаемой весны, чувственные воспоминания, подслащен-

ные к тому же дамскими ароматами местных фабрик, станут для них источником неги и довольства. И парижский будуар, и присутствие девиц – все обеспечит своему пациенту за счет подобной подмены лечащий врач. Для успешного лечения часто требуется лишь немного фантазии».

Да, уже давно нет ничего здорового. Вино и свобода в наше время дрянны и убоги. И надо уж очень постараться, чтобы убедить себя в том, что верхи общества достойны уважения, а низы – сострадания или помощи. А стало быть, заключил дез Эссент, вряд ли безрассудно и неэтично попросить ближнего немного пофантазировать – ведь это гораздо дешевле почти всех ежедневных безумств. Надо всего лишь представить, что Пантэн – искусственный Ментон или Ницца.

«Да, но все-таки, – решил он, – прервав свои размышления из-за внезапного приступа слабости, – не мешало бы соблюдать осторожность при опытах с ароматическими веществами. Они мне вредят». Дез Эссент вздохнул: «Ну вот, опять умеренность, опять страхи». Он вернулся к себе в кабинет, думая, что там скорей избавится от навяздений обоняния.

Он настежь раскрыл окно и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Однако ему вдруг почудилось, что ветерок принес запах бергамотовой эссенции с примесью жасмина, смородины и розовой воды. У него перехватило дыхание. «Может, – подумал он, – в меня вселился бес, один из тех, кого в Средневековье заклинали и изгоняли?»

Запах переменялся, стал другим, но был по-прежнему неотвязен. Теперь со стороны деревни, от холмов, веяло

толуанским бальзамом, перуанской смолой, шафраном и толикой амбры с мускусом. Через мгновение все в очередной раз переменилось: разрозненные дуновения слились воедино – и снова запахло франгипаном! Франгипан – а дез Эссент без промедления ощутил все его специфические особенности – ворвался в окно прямо с фонтенейских полей, потряс измученное обоняние, словом, добил дез Эссента, и тот почти замертво повалился без чувств на подоконник.

ГЛАВА XI

Слуги, перепугавшись, побежали за фонтенейским врачом. Но что за недуг у дез Эссента, тот так и не понял. Пробормотав какие-то медицинские термины, пощупав дез Эссенту пульс и посмотрев язык, доктор попробовал вернуть ему дар речи, но, ничего не добившись, прописал успокоительное и полный покой и сказал, что навестит его завтра. Но дез Эссент замотал головой, из последних сил давая понять, что не одобряет рвения слуг и гонит пришельца вон. С тем врач и отбыл и раструбил на весь город об эксцентричности Дезэссентова жилища, обстановка которого привела его в ужас и изумление.

Слуги не смели больше и шагу ступить из дома, однако, к великому их удивлению, хозяин в несколько дней оправился, и вскоре они увидели, что он, как ни в чем не бывало, барабаня пальцами по оконному стеклу, беспокойно смотрит на небо.

Однажды к вечеру дез Эссент позвонил коротким звонком и велел приготовить чемодан для длительного путешествия.

Старики супруги принялись, по его указаниям, собирать в дорогу нужные вещи, а сам он нервно ходил по каюте-столовой, изучал расписание, а затем, возвращаясь в кабинет, снова вглядывался в небо, и тревожно, и удовлетворенно.

Погода уже неделю была ужасной. По серым небесным нивам текли реки черной копоти, груды облаков походили на обломки скал.

Временами волны-тучи переполнялись влагой и обрушивали на равнину потоки дождя.

Но однажды небо изменилось. Черные реки иссякли и пересохли, облака растаяли, небо разгладилось, затянулось розоватой дымкой. Потом мало-помалу дымка как бы осела, и округу окутал влажный туман. Дождь не изливался потоками, как накануне, а моросил и был частым, колким, пронизывающим. Он размывал аллеи, затоплял дороги и бесчисленными нитями связывал небо и землю. Свет стал мутным и блеклым. Деревня превратилась в вязкое бурое месиво, приводившееся в движение колкими дождевыми струйками. Природа погрузилась в скорбь. Все краски потускнели. Одни только крыши поблескивали на фоне погасших стен.

— Ну и погодка! — вздохнул старик слуга, положив на стул одежду, истребованную хозяином, — костюм, шитый некогда в Лондоне.

Дез Эссент никак на это не откликнулся, потер руки и подошел к книжной полке, на которой лежала стопка разнообразных шелковых носков. Он подумал, какой бы цвет выбрать, и, с учетом хмурой погоды, собственного туалета в однотонно-серых тонах и характера своих планов, решительно схватил тускло-желтую пару, поспешно натянул их, надел высокие тупоносые башмаки с застежками, серый клетчатый, в коричневую крапинку, костюм, котелок, накинул синюю, цвета льна, крылатку и последовал за слугой, который еле волок два — большой и поменьше — чемодана, баул, шляпную картонку и чехол с зонтами и тростями. Прибыв на вокзал, дез Эссент объявил слуге, что не знает, когда вернется — через год, через

месяц, через неделю, а может, и раньше, приказал ничего не менять в доме, уплатил старику жалованье наперед, в счет своего примерного отсутствия, и сел в вагон, а тот в изумлении остался стоять на перроне, разинув рот и разводя руками.

Дез Эссент оказался один в купе. За окном, похожим на мутное стекло аквариума, в косых струях дождя стремительно убегала прочь равнина, однообразная и унылая. Дез Эссент погрузился в раздумье и закрыл глаза.

Вот и еще раз пережил он приступ жестокой тоски в столь желанном и обретенном наконец уединении! Когда-то он так мечтал о тишине после всей выслушанной им болтовни. А теперь, обретенная, эта тишина давила на него невыносимо. Как-то утром, проснувшись, он почувствовал себя узником в тюремной камере. Губы у него шевелились, в глазах стояли слезы. Он пытался что-то выговорить и судорожно дышал, как после долгих рыданий.

И столь же безумно вдруг захотелось ему пройтись пешком, увидеть живое человеческое лицо, поговорить с кем-нибудь, включиться в общую жизнь. Он даже под каким-то предлогом в тот день позвал к себе слуг и не отпускал их. Но беседовать с ними было невозможно. Во-первых, старики привыкли к молчанию и работе, напоминавшей уход за больным, и потому стояли почти как немые, а во-вторых, дез Эссент приучил их соблюдать дистанцию, и это тоже не располагало к беседам. Вдобавок они отличались инертностью ума и на все вопросы отвечали лишь односторонне.

Стало быть, никакой пищи для души, никакого облегчения старики слуги дать ему не могли. Одновременно с этим произошло с ним и другое событие. Накануне он, чтобы успокоить нервы, принялся перечитывать Диккенса. Однако действовало чтение не умиротворяюще, от-

нюдь нет. Мало-помалу, являя ему картины английской жизни, оно исподволь стало оказывать совершенно обратное действие. Постепенно созерцание всех этих условных образов пробудило в нем новую жажду. Ему захотелось увидеть их в натуре и отправиться в путешествие – сделать образ реальностью. И тут же его потянуло к новым впечатлениям, к побегу от изнурительного пира ума и тупого перемалывания пустоты.

Ненастье за окном укрепило его в этих мыслях: сплошные туманы и лужи прямо-таки не позволяли ему подумать о чем-то постороннем и отвлечься от мечтаний, навязанных чтением Диккенса.

Наконец он не выдержал и решился. Нетерпение его было так велико, что он прибыл на вокзал задолго до отхода поезда, чтобы поскорее покончить с одиночеством и очутиться в уличной толкотне, в вокзальной толпе и суматохе.

– Я еще жив, – сказал он себе, когда локомотив, замедля свой танец, вкатывал в ротонду дебаркадера Со и делал заключительные па в такт смолкающему грохоту поворотных кругов.

Выйдя в город, на бульвар д'Анфер, дез Эссент окликнул извозчика, очень довольный, что по рукам и ногам связан вещами и чемоданами. Посулив ему солидные чаевые, он нанял фиакр с кучером в брюках орехового цвета и красном жилете. «Оплата почасовая, – сказал он. – Поедем на Риволи. Остановитесь у “Galignani's Messenger”». Ему захотелось до отъезда купить путеводитель по Лондону Бедкера или Муррея.

“Galignani's Messenger” (англ.) – «Вестник Галиньяни» – основанная в 1814 г. братьями Галиньяни и печатающаяся Париже английская газета. В ней публиковались выдержки из газет Англии и Франции, в которых сообщались ежедневные новости политики, литературы и коммерции.

Фиакр тяжело двинулся с места, вздымая колесами круги грязи. Плыли по настоящему болоту. Небо, казалось, лежало прямо на крышах, со стен домов лило ручьями, водостоки переливались через край, мостовые были покрыты коричневой жижой, прохожие то и дело подскользывались. Проезжавшие omnibusы заставляли пешеходов останавливаться и прижиматься друг к другу, женщины подбিরали юбки до колен, съезживались под зонтиками и жались к витринам, чтобы их не окатило грязью.

Косой дождь проникал в фиакр сквозь занавески. Дез Эссенту пришлось поднять стекла, и теперь они были расчерчены полосками воды; брызги грязи сверкали на боках фиакра, как фейерверк. Наверху по крыше и багажу, словно горох из мешка, сыпался дождь, и дез Эссент, убаюканный этим стуком, мечтал о своем путешествии. Здесь, в Париже, ненастье – уже задаток, уже начало Англии. Перед глазами дез Эссента расстилался теперь дождливый, огромный, непрерывно дымящийся в тумане, безбрежный Лондон, от которого несло расплавленным чугуном и сажей. Потом, насколько хватало взгляда, замелькали нескончаемые доки с их кранами, лебедками, ящиками, множеством копошащихся людей – одни торчали на мачтах и реях, другие, на набережных, задрав зады кверху, заталкивали в подвалы бочки.

Все это шевелилось на берегах, у гигантских пакгаузов омывалось темными смердящими водами фантазмагорической Темзы, среди леса мачт, среди тьмы балок, вздымающихся к тусклым облакам небосвода, по которым на всех парах мчались одни поезда, другие прокладывали себе путь на земле по желобам крыш и, испуская страшные вопли, выплевывали дым из водостоков на улицы и бульвары, где вспыхивали в вечных сумерках чудовищно яркие, навязчивые рекламы и текли потоки экипажей среди

толп молчаливых и деловых людей, целеустремленно шагающих вперед с прижатыми к бокам локтями.

Дез Эссент дрожал от упоения, чувствуя себя затерявшимся в мерзком мире торгашей, в глухом тумане, в кипучей деятельности, во всей этой системе зубчатых передач, дробившей и перемалывавшей миллионы обездоленных, тогда как филантропы в виде утешения предлагали им чтение Библии и пение псалмов.

От толчка фиакра дез Эссента подбросило на сиденье, и мираж исчез. Он глянул в окошко. Было уже темно. Сквозь туман мерцали в желтоватом ореоле газовые рожки. Ленты огней плыли по лужам и, казалось, вращались вместе с колесами экипажей среди подрагивающих струек чадающего пламени. Дез Эссент попытался разглядеть, где проезжает, узнал Каррузель и вдруг неизвестно почему, быть может, из чувства противоречия, стал думать о совершенно ином и от туманных видений перешел к мыслям самым обыденным: вспомнил, что слуга, собирая чемоданы, забыл положить в несессер зубную щетку. Дез Эссент пересмотрел список своих вещей. Все было на месте, но досада, что щетка забыта, не оставляла его до тех пор, пока кучер, остановившись, не положил конец его воспоминаниям и чувству дискомфорта.

Они стояли на Риволи у «Galignani's Messenger». Между двумя витринами, изобиловавшими альбомами и книгами, была видна дверь с матовыми стеклами. К ней крепились множество табличек, вырезок из газет, обрамленных картонными рамками, голубых телеграфных бланков. Дез Эссент подошел ближе, привлеченный разнообразием книжных переплетов. Одни были из гофрированного картона, ярко-голубые и густо-зеленые, но непременно с золотым тиснением и серебряным обрезом; другие из коленкора, то светло-коричневые и светло-зеленые, то цвета гу-

синого помета и красной смородины, с оттиснутыми на корешке и лицевой обложке черными полосками.

Во всем этом было нечто антипарижское, весьма утилитарное и грубое, но вместе с тем позволявшее сим книгам смотреться все же лучше, чем третьесортная французская продукция.

То тут, то там лежали открытые альбомы с юмористическими сценками из Морье и Джона Лича² или лубками на тему несущихся через равнины кавалькад Колкотта. На этом фоне бросались в глаза несколько французских романов, в которых английская кислятина смешалась с добродушной и самодовольной пошлостью собственного производства.

В конце концов он оторвался от витрины, толкнул дверь и вошел в просторную читальню, битком набитую народом. Иностранки, сидя в креслах, рассматривали карты и, что-то бормоча на своих тарабарских языках, обсуждали увиденное. Приказчик принес ему целую кипу путеводителей. Дез Эссент тоже уселся и принялся листать их. Мягкие обложки гнулись у него в руках. Просмотрев принесенное, он раскрыл Бедекера на главе о лондонских музеях. Характеристики, данные в путеводителе, были лаконичными и точными. По мере того как он увлеченно читал, его внимание переключилось со старой английской живописи на гораздо более близких ему новых мастеров. Он вспомнил некоторые из современных картин, виденных им прежде на международных выставках, и подумал, что, может быть, встретит их в Лондоне, как, к примеру, работы Миллэса³, с его лунно-серебристым «Бдением свя-

²Лич, Джон (1817–1864) – английский карикатурист, работал в журнале «Панч».

³Миллэс, Дж. Эверет (1829–1896) – английский художник-прерафаэлит.

той Агнессы», или на странный манер расцвеченные индиго и гуммигутом полотна Уатса¹, выглядевшие так, будто их затеял больной Моро, писал анемичный Микеланджело, а закончил любивший синеву Рафаэль. В числе прочих его холстов дез Эссенту вспомнились «Осуждение Каина», «Ида», «Евы», в которых сквозь причудливую амальгаму трех великих мастеров проступал лик британца – педанта и эстета, ученого и мечтателя, одержимого тонами то суровыми, то жестковатыми.

Воспоминания об этих картинах обступили дез Эссента. Прикзчик, удивленный видом зачитавшегося покупателя, поинтересовался, какой из путеводителей тот выбрал. Дез Эссент рассеянно посмотрел на него, но, спохватившись, извинился, заплатил за Бедекера и вышел на улицу. Сырость была пронизывающей. Ветер дул сбоку и хлестал дождем по стенам.

– Поезжайте вон туда, – бросил дез Эссент кучеру и указал ему на некое заведение в конце галереи на углу улиц Риволи и Кастильоне, которое беловатым светом своих окон в миазмах тумана и бесприютности ненастья напоминало гигантский ночник.

То был винный погреб «Bodega». Дез Эссент очутился в вытянутой, как длинный коридор, зале. Ее свод подпирался чугунными столбами, а вдоль стен шли ряды высоких винных бочек.

Их пузо было затянуто железными обручами и украшено деревянной решеткой, напоминавшей подставку для трубок. Из нее торчали ножки бокалов, похожих на тюльпаны. В подбрюшье каждой бочки находился керамический краник. Венчали же все королевский герб и цветная этикетка с указанием сорта вина и цены всей бочки, бутылки или бокала.

¹Уатс, Джордж Фредерик (1817–1864) – английский художник и скульптор.

В проходе между бочками, освещаемом газовыми рожками безобразной серо-стальной люстры, располагались столики, на которых стояли плетенки с печеньем «Палмерс» и солеными сухариками, а также тарелки с галетами и сэндвичами, на вид пресными, но внутри полными горчицы. Столики вслед за частоколом стульев уходили в самые недра заведения. Эти недра также были уставлены бочками, а на бочках высились бочонки с выжженными каленым железом клеймами.

Дез Эссент расположился в этом хранилище крепких вин и ощутил себя поработанным их густым запахом. Он посмотрел по сторонам: вот тут выстроилась шеренга портвейнов, на вкус терпких или мягких, на цвет бордовых или малиновых. Они отличались друг от друга хвалебным перечислением своих достоинств: «old port», «light delicate», «cockburn's very fine», «magnificent old Regina». А вон там, выпятив брюхо, теснились бутылки с различными типами марочного испанского хереса, то приобретавшего цвет топаза, то становившегося бесцветным или дымчатым, сухим или сладким: «san lucar», «pasto», «pale dry», «oloroso», «amontilla».

Зал был переполнен. Дез Эссент, облокотившись на столик, дожидался стакана портвейна. Он заказал его у джентльмена, который откупоривал бутылки с содовой. Своей формой они в точности повторяли капсулы с желатином и клейковиной – веществами, которыми фармацевты смягчают горечь некоторых лекарств.

Вокруг были одни англичане: бледные и нелепые протестантские пасторы в черном с головы до ног, в мягких шляпах, шнурованных башмаках, длиннополых рединготах, застегнутых на множество мелких пуговиц, с бритыми подбородками, прилизанными сальными волосами и в круглых очках; субъекты, походившие на мясников, – с бульдожьими

ми рожами, апоплексическими шеями, красными, как помидор, ушами, сизыми щеками и по-бычьему тупым взглядом; бородачи, смахивавшие на обезьян; еще дальше, в самом конце залы, какой-то дылда с волосами как пакля и белесой бородачкой, напоминавшей артишоковые волосы, разглядывая в лупу антикву английской газеты, сидевший напротив него коротышка-толстяк, с виду американский коммодор, обветренный, толстоносый, с сигарой из-под усов, сквозь дрему взирал на висевшие по стенам карты шампанских и прочих марочных вин: Перрье, Редедер, Хайдзик, Мумм, выведенное готическими буквами название с изображением головы монаха в капюшоне – «Дом Периньон, в Реймсе».

В атмосфере караульного помещения дез Эссент вдруг как-то размяк. Англичане переговаривались между собой, а он, одурев от их болтовни, погрузился в сладкие грезы. Он всматривался в стакан с пурпурным портвейном, излюбленным напитком диккенсовских персонажей, и видел перед собой седину и румянец мистера Уикфельда⁵, неумолимый взгляд флегматика и хитреца мистера Талкингхорна, этого угрюмого адвоката из «Холодного дома». Нет, решительно, все они сошли со страниц диккенсовских романов и предстали перед ним в «Bodega» во плоти и крови. Воспоминания, навеянные недавним чтением, были удивительно яркими. В памяти возник диккенсовский город, возник хорошо освещенный и жарко натопленный дом с добрыми хозяевами и крепкими засовами. И крошка Доррит, Дора Копперфилд и сестра Тома Пинча⁶ неспешно разливали вино. Этот город напоминал теплый ковчег, плавающий

⁵Мистер Уикфелд – персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд».

⁶Крошка Доррит – героиня одноименного романа Ч. Диккенса, Дора Копперфилд – героиня романа «Дэвид Копперфилд», сестра Тома Пинча – героиня романа «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».

по океану грязи и копоту. Дез Эссент разнежился в Лондоне своей мечты и был счастлив, что сидит в тепле и прислушивается к реву плывущих по Темзе (подле моста у Тюильри) буксиров. Он допил свой портвейн. Тепло от дымивших сигар и трубок в какой-то степени согревало залу, однако, очнувшись и ощутив промозглую сырость дождливо-го дня, дез Эссент почувствовал легкий озноб.

Он заказал стакан амонтильядо, но в этом сухом белом вине вдруг исчезла мягкая и душистая сладость Диккенса и заявила о себе мучительная, болезненная пряность Эдгара По. Кошмарный образ бочонка и замурованного подземелья возник перед Эссентом. Почудилось ему, что пошло-добродушные лица англичан и американцев за столиками тают коварство и ужасные намерения. Потом он заметил, что зала пустеет и близится время обеда. Дез Эссент расплатился, с трудом встал, в полном осоловлении направился к выходу. Едва он ступил за порог, как ему вlepили мокрую пощечину. Порывы ветра и дождя приводили в движение огненный веерок фонарных огней, но света от этого не добавлялось. Небо стало совсем низким и наполовину скрыло дома. Дез Эссент смотрел на утопавшие во мраке и разгуле стихий арки улицы Риволи, и ему казалось, что он находится в темном туннеле под Темзой. Но тут у него начались голодные спазмы в животе, и это вернуло дез Эссента к действительности. Он снова сел в свой фиакр, дал кучеру адрес таверны на рю д'Амстердам, у вокзала, и посмотрел на часы. Было семь вечера. Еще оставалось время поужинать. Поезд уходил только без десяти девять. Он посчитал на пальцах, прикидывая расстояние от Дьеппа до Нью-Хейвена, и сказал себе: «Если сведения в путеводителе точные, то завтра днем в двенадцать тридцать я — в Лондоне».

Фиакр остановился у таверны. Дез Эссент снова спустился по ступенькам и вошел в длинную коричневую, но

без всякой позолоты залу. Перегородки в половину человеческого роста разбивали ее на отделения, напоминавшие конюшенные стойла. В самом широком месте залы, у дверей, располагалась стойка, над которой возвышались огромные пивные насосы, рядом с ними громоздились копченые окорока цвета старинной скрипки; подкрашенные суриком омары; маринованная макрель в колечках лука и кружках сырой моркови; ломтики лимона, букетики из тимьяна и лавра, можжевельные ягоды и горошины перца в мутном соусе.

Одно из отделений оказалось свободным. Дез Эссент занял его и подозвал молодого человека в черном. Тот склонился перед ним, бормоча какие-то непонятные слова. Пока накрывали на стол, дез Эссент оглядел своих соседей. Как и в предыдущем заведении, островитяне с фарфоровыми глазками и красными лицами, кто задумчиво, кто надменно, были поглощены чтением иностранных газет. Ужинали только женщины, без кавалеров, сидя по двое лицом к лицу, — дородные англичанки с мальчишечьими лицами, лошадиным оскалом зубов, румяными щеками, большерукие и длинноногие. Они с увлечением поедали ромштекспай — запеченное в тесте мясо под грибным соусом.

Дез Эссент давно уже потерял интерес к еде, но теперь, поразившись аппетиту этих здоровячек, сильно захотел есть. Он спросил себе «окстейл-суп» и с удовольствием отведал этот навар из бычьих хвостов, легкий, нежный, но вместе с тем и сытный. Затем он просмотрел меню рыбных блюд, заказал «haddock», нечто вроде копченой трески, но, с удовлетворением прикончив ее, при виде прожорливости своих соседей снова безумно захотел есть, проглотил ростбиф с яблоками и осушил две пинты эля. Мускусный запах коровника, свойственный этому светлому напитку, приятно возбудил его.

Утолив голод, дез Эссент через силу съел ломтик стилтонского рокфора, сладость которого слегка горчила, а также попробовал кусочек пирога с ревенем, после чего для разнообразия выпил портера – темного горьковатого пива с запахом лакрицы.

Дез Эссент перевел дух: вот уже много лет он так много не ел и не пил. И непривычно сытная еда заставила его желудок заработать в полную силу. Дез Эссент расположился поудобней, закурил и приготовился побаловать себя кофе с джином.

Дождь все не переставал. Дез Эссент слышал, как он барабанит по застекленному потолку в глубине залы и водопадом низвергается по водосточным трубам. В зале никакого движения. Все так же, как и он, нежились в тепле, за одной-единственной рюмочкой.

Языки развязались. Поскольку англичане во время разговора поднимали глаза к небу, дез Эссент заключил, что они говорят о плохой погоде. Никто из них не смеялся, все они были одеты в серый шевитот с чесучово-желтой или нежно-розовой искрой. Он бросил восхищенный взгляд на их одежду. Ни цветом, ни покроем платья англичане друг от друга не отличались, и дез Эссент обрадовался, что и сам ничем не выделяется из их среды и хотя бы в какой-то мере походит на коренного лондонца. Вдруг дез Эссент подскочил. «Не пора ли на поезд? – подумал он и посмотрел на часы. – Без десяти восемь. Еще полчаса можно посидеть». И снова стал размышлять о своих планах.

При таком сидячем образе жизни дез Эссент мечтал лишь о двух странах – Англии и Голландии.

Мечта о Голландии уже давно сбылась. Однажды, не в силах больше терпеть, он бросил Париж и объездил всю Голландию вдоль и поперек.

Путешествие принесло ему жестокое разочарование. Он представлял себе Голландию по картинам Тенирса, Стена⁷, Рембрандта, Остаде. Он рисовал себе удивительные еврейские кварталы, вызолоченные солнцем, как кордованская кожа, воображал народное гулянье на ярмарках, нескончаемые деревенские пирушки и воспетые старыми мастерами патриархальное добродушие и жизнерадостность.

Гарлем и Амстердам его, разумеется, очаровали. Неотесанные деревенские жители вполне походили на персонажей Ван Остаде. И дети такие же грубо скроенные. И жены такие же толстухи, грудастые и пузатые. Но от их неумеренного веселья и семейных пирушек – ни следа. Короче, приходилось признать, что голландская школа Лувра сбила его с толку: она стала отправной точкой фантазии дез Эссента⁸. И он устремился в погоню за ней, но выбрал ложный путь и, заплутав в своих ни с чем не сравнимых грезах, так никогда и не отыскал эту волшебную и реальную страну и не увидел луга, на котором среди множества винных бочонков, прослезившись от радости и в упоении отбивая ногой такт, пустились в озорной и веселящий душ пляс крестьяне и крестьянки.

Нет, решительно ничего этого не существовало. Голландия оказалась такой же страной, как и все другие, и при этом отнюдь не примитивной, не благостной. В ней торжествовал протестантизм с его непоколебимым лицемерием и церемониальной чопорностью.

⁷Тенирс, Давид Младший (1610–1696) – фламандский живописец, писал жанровые картины, изображающие народный быт. Стен, Ян (1626–1679) – голландский художник, изображал пирушки, свадьбы, бытовые сцены.

⁸Эту мысль разовьет О. Уайльд в книге «Замыслы», с той лишь разницей, что «местом несравненных видений» будет Япония, которая, по словам Уайльда, «не что иное, как вымысел прекрасных художников».

Чувство разочарования вернулось к нему. Он снова посмотрел на часы: оставалось еще десять минут до отхода поезда. «Как раз время расплатиться, и на вокзал, – подумал он, ощущая страшную тяжесть в желудке и во всем теле. – Ну ладно, – подбодрил он сам себя, – вот только выпью на посошок». Он налил в стакан бренди и попросил счет. Какой-то субъект в черном, с салфеткой на руке, похожий на мажордома, с остроконечным лысым черепом и жесткой седой бородкой, но без усов, подошел, заложив за ухо карандаш, остановился, выставил, как певец, ногу, вытащил из кармана книжечку, но не глянул в нее, а вперив глаза в потолок у люстры, начертал на бумаге ряд цифр и произвел необходимые вычисления.

– Вот, – сказал он, вырвав листок из книжечки и вручив его дез Эссенту. Дез Эссент с любопытством рассматривал субъекта, как диковинного зверя. «Что за странный Джон Буль»⁹, – думал он, глядя на эту флегматичную персону, слегка напоминавшую своим выбритым лицом рулевого американского флота.

В этот миг дверь в таверну открылась. Вошедшие принесли с собой запах мокрой псины. С ним смешался угольный дымок, который просочился по полу с кухни через хлопавшую на сквозняке дверь без щеколды. Дез Эссент был не в силах пошевелиться. Им овладела приятная слабость. Он даже не мог поднять руку, чтобы зажечь сигару, и только уговаривал себя: «Ладно, ладно, вставай же, пора в дорогу», но тотчас находил против этого массу возражений. Зачем, мол, куда-то ехать, если можно так прекрасно путешествовать не вставая со стула? И разве теперь он не в Лондоне, с его обитателями, запахами, по-

⁹Джон Буль – нарицательное имя, обозначающее типичного англичанина. Первоначально – персонаж серии памфлетов Джона Арбенота (1667–1735), появившихся в 1726 г.

годой, едой и кухонной утварью? Чего же еще ждать? Разочарования, как в Голландии?

Теперь, чтобы успеть к поезду, он должен был мчаться со всех ног на вокзал. Отвращение к поездке и потребность спокойно сидеть на месте становились все сильней и сильней. Он еще немного колебался, теряя последнее время и отрезая себе путь к бегству. И все твердил: «Вот сейчас пришлось бы бежать к кассе, толкаться с багажом. Как это непереносимо скучно!» Потом повторил в который раз: «В общем я получил все, что хотел увидеть и почувствовать. С тех пор как я выехал из дома, я только и делал, что набирался опыта английской жизни. И мучиться, переезжать с места на место, растрачивать драгоценные впечатления – чистое безумие. И что это, наконец, на меня нашло, что я вдруг переменял образ мысли, отрекся от тихих фантазмагорий своих дум и, как простофиля, поверил в необходимость и пользу экскурсий! А между прочим, – сказал он, взглянув на часы, – пора домой». На этот раз он поднялся, вышел из таверны, велел кучеру отправляться на вокзал и со всеми своими чемоданами, саквояжами, пледами, зонтиками и тросточками вернулся в Фонтеней, ощущая физическую и душевную усталость человека, приехавшего домой после долгого и опасного путешествия.

ГЛАВА XII

В последующие после возвращения дни дез Эссент перебирал свои книги и при мысли, что чуть было весьма надолго не расстался с ними, испытывал живейшее удовлетворение, словно и впрямь обрел их вновь после долгой разлуки. Под влиянием этого чувства ему даже показалось, что они у него совсем недавно, ибо он снова увидел всю их красоту, забытую с тех давних пор, как он купил их.

Все — книги, безделушки, мебель — приобрело в его глазах какое-то особое очарование. Кровать показалась еще мягче по сравнению с той кушеткой, на которой ему пришлось бы спать в Лондоне; тихие, незаметные слуги были просто неподражаемы, стоило их сравнить с говорливыми и несносными служащими отеля, а размеренная жизнь выглядела еще желанней при мысли о том, что он мог случайно пуститься в странствия.

И снова он погрузился в атмосферу своих привычек. После искусственно устроенной разлуки подобная ванна и освежила, и укрепила его.

Главным интересом стали книги. Он осмотрел их и вновь расставил по полкам, после того как убедился, что со времени переезда в Фонтеней ни жара, ни влажность не испортили ни переплета, ни редких сортов бумаги.

Начал он с того, что перебрал все свои латинские книги, затем по-новому расставил ученые трактаты Архелау-

са, Альберта Великого, Луллия и Арнольда Виллановы о каббале и оккультных науках¹ и наконец, пересмотрев том за томом современных авторов, с радостью констатировал, что все находится в целостности и сохранности.

Эти книги стоили ему немалых денег. Он и мысли не допускал, что его любимые авторы будут, как в любой другой домашней библиотеке, отпечатаны на простой бумаге, гвоздями башмаков какого-нибудь овернца.

Прежде, когда дез Эссент жил в Париже, он заказывал для себя издания в одном экземпляре, который специально нанятые рабочие печатали ему вручную: он обращался то к лионскому издателю Перрэнну, потому что его тонкая и чистая печать подходила для различного рода древностей и старой книги; то выписывал новые типы шрифтов из Америки и Англии, ценя тамошние современные издания; а порою прибегал к услугам типографий Лилля, исстари обладавших прекрасным набором всех разновидностей готической печати, и старинной гарлемской типографии Эншеде, которая славилась своей культурой пуансона и матриц.

Аналогичным образом он относился и к бумаге для книг. В один прекрасный день ему опротивели все эти бумажные изыски: китайская серебристая бумага, японская перламутровая и позолоченная, белая ватманская, темная голландская, вторившая замше, турецкая и желтая сейшельская. Не переносил он и бумагу фабричного производства. Он заказал верже особого формата на старой вирской мануфа-

¹ Гюисманс имеет в виду двухтомную «Оккультную философию» Корнелия Агриппы, опубликованную по-французски в 1727 г.; «Удивительные секреты Альберта Великого», содержащие замечания о свойствах трав, драгоценных камней, животных и т. д., опубликованные в 1799 г.; «Двенадцать ключей» Василия Валентина, опубликованные в 1660 г.; «Стенографию» (1721) и «Полиграфию» аббата Тритема; трактаты Парацельса, Раймонда Луллия и др.

ктуре, где еще треплют коноплю по старинке. А чтобы разнообразить свою коллекцию, он в несколько приемов выписал из Лондона бумагу с фактурой ткани, ворсистую или репсовую, и вдобавок, из презрения к библиофилам, обязал торговца из Любека поставить ему улучшенную искристую бумагу, синеватую, звонкую, чуть ломкую, в которую вместо щепочек были вкраплены блески, напоминавшие золотую взвесь данцигской водки.

Так дез Эссент стал владельцем уникальных изданий совершенно необычного формата, которые переплетали для него и Лортик, и Гро-Бозонне, и Шамболь, и ученики Капе. На это шли старинный шелк, тисненая бычья или козлиная капская кожа. Из-под их рук выходили мягкие переплеты с золотым узором и инкрустацией, или подбитые обьярью и муаром, или, подобно церковным книгам, снабженные застежками и металлическими уголками, некоторые из которых Грюэль-Энгельман покрыл черным серебром и светлой эмалью.

Подобным образом дез Эссент издал Бодлера. Напечатал он его в старинной типографии Ле Клера красивейшим церковным шрифтом. Книга была издана большим форматом, в размер требника, на тончайшей японской, нежной, словно мякоть бузины, бумаге молочно-белого, с едва заметной примесью розового, цвета. Этот единственный экземпляр, отпечатанный бархатистой китайской тушью, был переплетен чудесной свиной кожей телесного цвета, выбранной из тысячи образцов, — всей в точечку, под щетину. Ее украшали вытисненные черные узоры, на редкость удачно подобранные маститым художником.

Дез Эссент достал чудо-книгу с полки, с трепетом взял в руки и перечел некоторые стихотворения, которые в подобном обрамлении — и простом, и изысканном — казались ему особенно пронзительными.

Бодлеровской поэзией дез Эссент восхищался беспредельно. Он считал, что до Бодлера писатели исследовали душу поверхностно или ограничивались проникновением в глубины, открытые для обозрения и хорошо освещенные, где находили залежи смертных грехов и изучали их происхождение и развитие, как это делал, к примеру, Бальзак, живописуя изгиб души, одержимой какой-то одной страстью – тщеславием, скупостью, отцовским самодурством, старческой любовью.

И процветали порок и добродетель, жили-поживали устроенные на один лад личности, царили усредненность, пошлость мысли и общих мест, без всякого стремления к чему-то болезненному, тронутому порчей, потустороннему. Иными словами, литература остановилась на понимании добра и зла, данном церковью, – на простом исследовании, на наблюдении ботаника за самым обычным цветком, который распускается в самых обычных условиях.

Бодлер пошел намного дальше. Он спустился в бездну бездонного рудника, проник в штольни, брошенные или неведомые, достиг тех пределов души, где кроются чудовищные цветы ума.

Там, у рубежа, за которым открываются извращение, болезнь, странный паралич духа, угар разврата, брюшной тиф и желтая лихорадка, поэт под покровом скуки обрел целый мир идей и ощущений.

Бодлер выявил психологию сумеречного ума, достигшего своей осени, перечислил симптомы болезни скорбящей души, которая отмечена, словно дарованием, сплином. Он показал загнивание чувств, угасание душевного жара и веры в молодых людях, поведал, как живучи в памяти бывшие невзгоды, унижения, обиды, удары нелепой судьбы.

Поэт неотступно следил за всеми капризами сей плачевной осени жизни. Он вгляделся в человеческую природу

ду, увидел, как легко человек ожесточается, как ловко учится плутовать, как быстро привыкает к самообману, чтобы сильнее терзать себя, чтобы копанием в себе и рефлексией заведомо лишить себя всякой радости.

И не только увидел Бодлер, как нервическая чувствительность и ожесточенность самоанализа отвергают пылкую верность, порыв безудержного милосердия. Разглядел он, как постепенно души перестают любить и гореть и становятся холодными, супруги – пресыщенными, поцелуи – родственными, а ласки начинают походить на проявление сыновней или материнской нежности. В результате возникают, так сказать, странные угрызения совести по поводу участия в почти что кровосмесительной связи. Блистательными стихами описал Бодлер мутацию своих страстей, бессильных, но потому полных отчаяния. Открыл, как губителен обман дурмящих средств и зелий, которые зовет душа на помощь, чтобы смягчить страдание и развеять скуку. Во времена, когда литература уверяла, что вся боль жизни – лишь от несчастной любви, измены и ревности, Бодлер презрел эти детские объяснения, нашел язвы куда более глубокие, мучительные, страшные и показал, как пресыщенность, разочарование и гордость в подверженных распаду душах превращают действительность – в пытку, прошлое – в мерзость, будущее – в мрак и безнадежность.

Чем больше дез Эссент читал Бодлера, тем сильнее чувствовал его несказанное очарование. Во времена когда поэты были способны на описание лишь внешних сторон человека и мира, он сумел выразить невыразимое. Язык его был мускулист и крепок, благодаря чему Бодлер как никто другой смог найти удивительно ясные и чеканные выражения для фиксации самых неопределимых, самых неуловимых болезненных переживаний истощенного ума и скорбной души.

Помимо Бодлера число современных авторов в библиотеке у дез Эссента было весьма невелико. Он относился с полнейшим безразличием к книгам, восторгаться которыми считалось хорошим тоном. «Великий смех» Рабле не смешил его, «истинный комизм» Мольера не казался комичным. И он до того не переносил их, что по артистической ценности приравнивал сочинения и того и другого к балаганным фарсам да ярмарочной потехе.

Из старых поэтов читал одного Вийона², меланхоличность баллад которого трогала его, и кое-какие отрывки из Агриппы д'Обинье³, горячившие ему кровь диким жаром своих инвектив и проклятий.

Что касается прозы, то дез Эссент был совершенно безразличен к Вольтеру, Руссо и даже Дидро, чьи хваленые «Салоны» казались ему внутренне пошлыми и неглубокими. Из ненависти ко всему этому вздору дез Эссент читал почти одних лишь христианских писателей. Особое впечатление производили на него звонкозвучные периоды Бурдалу и Боссюэ. Но еще больше нравился ему Николь со своей строгой фразой и особенно Паскаль: его суровый пессимизм и мучительная скорбь в буквальном смысле брали дез Эссента за душу.

За исключением этих нескольких книг, французская словесность в библиотеке дез Эссента начиналась с XIX века. Разделялась она на две части: в первую входила светская литература, во вторую – церковная. Хотя она и носила специальный характер, но благодаря крупным книготорговцам была доступна во всех частях света.

²В XIX в. Вийон не был известен широкому кругу читателей. Одним из первых на него обратил внимание Готье.

³Д'Обинье, Агриппа (1552–1630) – французский писатель, автор книг «Трагики», «Всемирная история», «Приключения барона де Фенеста», «Весна». Агриппа был одним из самых верных сторонников короля Генриха IV.

Дез Эссент набрался духу, чтобы сполна окунуться в нее и обнаружить, что в церковной литературе, так же как и в светской, среди массы лишенных смысла и бездарных книг нередко встречаются подлинные шедевры.

Отличительной ее особенностью была незыблемость строя мысли и языка. Как форму священной утвари, церковь сохранила неповрежденными не только догматы, но и сложивший их сладкозвучный слог золотого века, который, по утверждению одного из церковных писателей, Озанана, ничего не позаимствовав у Руссо, черпал непосредственно из Бурдалу и Боссюэ.

Впрочем, вопреки подобному утверждению, церковь была не такой уж нетерпимой и закрывала глаза на те или иные выражения и обороты, заимствованные у светских писателей. Отсюда и известное облегчение церковного стиля – фраз массивных и нескончаемых, как у Боссюэ с его бесчисленными вводными словами и нагромождением местоимений. Но эта уступка оказалась первой и последней. Других, видимо, не понадобилось, ибо церковь вполне обходилась этим облегченным языком для обсуждения тех вопросов, которые находились в ее ведении.

Язык этот не мог ни изобразить современную жизнь самых обычных людей и самые повседневные ситуации, ни описать сложный ход извилин в холодных, лишенных благодати умах. Зато он прекрасно подходил для абстрактных суждений, диспутов, библейских комментариев, доказательств и опровержений и мог с вящим авторитетом утверждать что-либо, не допуская и грана возражения.

Увы, и здесь, как и повсюду, святилище заполонили хамы, осквернив его благородную строгость своим невежеством и серостью. Мало того, за церковное перо взялись дамы, галиматья которых, с потугой на шедевр, находила

восторженный отклик как у недалеких святош, так и ограниченных завсегдаев салонов.

Дез Эссент не поленился заглянуть в один из таких опусов. Его автором была госпожа Свечина, русская генеральша, проживавшая в Париже. Ее дом усердно посещали самые ярые католики. Веяло от них страшной, непереносимой скукой. Они были отталкивающи и, что хуже, на одно лицо. Казалось, чопорные прихожане елейно склонились в молитве, а шепотом делятся новостями и с важным видом твердят что-то банальное о погоде и политике.

Но встречалось нечто худшее: к примеру, обладательница университетского диплома мадам Опостус Кравен, ее «Рассказу сестры», «Элиане» и «Флеранж» пропела аллилуйи и осанны вся церковная пресса. Нет, никогда, никогда дез Эссент не вообразил бы, что можно сострять такую чушь! Эти книжонки были до того убоги по мысли и стилю, что приобрели даже какое-то почти индивидуальное лицо.

Что говорить, дез Эссент не мог похвастаться свежестью восприятия и природной склонностью к сентиментальности – дамская литература была отнюдь не в его вкусе.

Все же он заставил себя с полным вниманием читать гения в синих чулках. Старался дез Эссент, однако, даром. Ни слова не понял он из «Дневника» и «Писем» госпожи Эжени де Герен⁴, в которых она самозабвенно расточала хвалы своему брату-поэту, слагавшему стихи с таким простодушием, с такой грацией, что не знал себе равных, – вот разве что господа де Жуи⁵ и Экушар Лебрэн⁶ сочиняют столь же ново и смело!

⁴Герен, Эжени де (1805–1848) – французская писательница, известная своими «Письмами».

⁵Жуи, Жюль (1855–1897) французский поэт, писал политические песни и сатиры.

⁶Лебрэн, Понс Денис Эшуар (1729–1807) – французский поэт.

Тщетно пытался он понять прелесть тех книг, где встречались, например, следующие пассажи: «Нынче утром я повесила над папиной кроватью крестик, который вчера ему дала одна девочка». Или: «Мы с Мими званы завтра к г-ну Рокье на освящение колокола. И мне эта прогулка не неприятна». Или говорилось о крайне важных событиях: «Я теперь повесила на шею медальон с изображением Святой Девы, который Луиза мне прислала в защиту от холеры». Или же цитировалась высокая поэзия: «О, дивный лунный луч скользит по Библии моей раскрытой!» Или, наконец, приводились тонкие и пронизательные наблюдения: «Когда я вижу, как, проходя мимо распятия, кто-то крестится или снимает шляпу, я говорю себе: «Вот истинный христианин».

И так до бесконечности, пока Морис де Герен не умирает и сестра многословно оплакивает его на множестве страниц, усеянных обрывками убогих стихов, написанных так жалко и беспомощно, что дез Эссент даже по-настоящему пожалел писательницу.

Да... Не столь уж это, конечно, и важно, но католическая партия не очень-то привередничала, выбирая своих протеже без всякого намека на художественный вкус! Сок жизни, который она так оберегала, оказался самой заурядной, бесцветной словесной водой, и потоков ее не могло остановить ни одно вяжущее средство!

И дез Эссент с отвращением отвернулся от этой литературы. Но и современные духовные авторы не приносили ему удовлетворения. Они, безусловно, были замечательными проповедниками и полемистами. Однако не владели церковным языком, который в их выступлениях с амвона и книгах утратил свое лицо, стал скучной фигурой речи, состоящей из одинаковых длинных фраз. Без преувеличения, церковные писатели начали писать совершенно оди-

наково, разве что с большим или меньшим напором и воодушевлением. По манере письма ничем уже не отличались их святейшества, брался ли сочинять Дюпанлу⁷, Ландрио, Ла Буйри или Гом⁸, или, может, Дон Геранже⁹, отец Ратисбон, монсеньеры Фреппель¹⁰ или Перро, или же их преподобия Равиньян и Гратри, или иезуит Оливэн, кармелит Дозите¹¹, доминиканец Дидон¹² или даже старец из монастыря св. Максимиана преподобный Шокарн.

И дез Эссент нередко думал: да, нужны подлинный дар, и личность, и глубочайшая вера, чтобы разморозить этот ледяной язык, оживить этот проповеднический стиль, который уже не мог блеснуть ни ярким оборотом речи, ни смелой мыслью.

И все же иногда встречались писатели, которые своим пламенным красноречием были способны растопить лед слов и вернуть их к жизни. Это в особенности относилось к Лакордеру, одному из немногих за долгое время настоящих церковных авторов.

Лакордер, подобно прочим, был стеснен рамками догматических рассуждений и, как и многие, топтался на ме-

⁷Дюпанлу, Феликс (1802–1878) – французский прелат, специалист по катехизации юношей, директор малой семинарии де Сен-Никола дю Шардоне.

⁸Гом, Жан (1802–1879) – французский писатель, теолог. Известен своим трудом «Мучительное беспокойство общества, или Язычество в воспитании» (1852).

⁹Дон Геранже, Проспер (1805–1875) – теолог, реставратор ордена св. Бенуа во Франции. Основные сочинения – «Литургические установления» («*Institutions liturgiques*»), «Церковный год» («*L'Annee liturgique*»).

¹⁰Фреппель, Шарль (1827–1891) – французский прелат, проповедник, противник Ренана.

¹¹Дозите – святой VI в., монах.

¹²Доминиканец Дидон (Дидон, Генри, 1840–1900) – французский писатель, проповедник. Известен его труд об Иисусе Христе (1891).

сте, отваживаясь лишь на то, что с благословения отцов церкви развивалось видными проповедниками. Ему удалось, однако, внести в эти рассуждения брожение, омолодить их, придать им своеобразие и живость. Его «Проповеди в Соборе Парижской Богоматери» были полны словесных находок, смелых сравнений, юмора, прыжков, радостных восклицаний, необузданных порывов – словно заискрился под его пером церковный слог. Лакордер, этот одаренный писатель и кроткий монах, отважился на сочетание несочетаемого – либеральных представлений об обществе с авторитарной церковной мыслью. Весь свой дар, все силы он потратил на это. Но не одним только ораторским талантом обладал Лакордер. Была в нем пламенная любовь к Богу, были такт и добросердечие. В письмах к юношеству он, словно отец, увещевал любя, журил с улыбкой, советовал доброжелательно, прощал легко. Прекрасны были письма, где он признавался, как жаден до привязанности, величественны те послания, в которых он одобрял и укреплял верующих, рассеивая их сомнения собственной непоколебимой верой. Словом, это отцовское начало, ставшее у него очень деликатным, даже отчасти женственным, сообщило его прозе ни с чем не сравнимое, единственное во всей духовной литературе звучание.

После него христианских писателей, обладавших маломальской индивидуальностью, среди монахов и священников можно было перечесать по пальцам. Пожалуй, это один лишь его ученик аббат Пейрейв, да и то лишь немногие его страницы выдерживали критику. Пейрейв оставил трогательную биографию своего учителя, написал несколько душевных писем, сочинил необозримое количество по-ораторски звучных трактатов, произнес немало речей, без меры высокопарных. Но, разумеется, ни чувством, ни огнем Лакордеровым аббат Пейрейв не обладал. В нем было

слишком много от лица духовного и слишком мало от светского. И все же то здесь, то там встречаются у него занятые сравнения, длинные и вместе с тем крепкие фразы, возвышенный, почти величественный слог. Оттого-то заслуживающих внимания духовных писателей, которые были бы верны церковному делу и своему ремеслу, приходилось искать не среди духовенства, а в миру.

Епископский стиль, столь обессиленный прелатами, в какой-то мере воспрял и даже обрел своего рода мощь в сочинениях графа де Фаллу¹³. Со стороны спокойный, граф-академик изнутри исходил желчью. Его речи, произнесенные в парламенте в 1848 году, пространны и тусклы, однако статьи, которые печатал «Корреспондан» – позднее они вышли отдельной книгой, – колки и язвительны, хотя по форме предельно учтивы. Написаны они «за здравие», но полны нетерпимости и страстной горечи.

В полемике он был опасен – хитрец, логик, мастер засад и защитного боя, неожиданных и острых выпадов. В то же время на смерть госпожи Свечиной де Фаллу откликнулся страницами, полными волнения; выходявшее из-под ее пера находило в нем собирателя, а ее саму он почитал как святую.

Но со всей силой проявился его дар в двух брошюрах. Первая вышла в 1846 году, вторая, под названием «Национальное единство», – в 1880-м.

В ней легитимист де Фаллу беспощадно, с холодной яростью, вопреки обыкновению, говорил не сдерживаясь и под занавес в виде заключения бросал маловерам гневное, грозное обвинение:

«А вы, упорные утописты, превращающие человеческую природу в абстракцию, вы, пособники атеизма, пита-

¹³Граф де Фаллу, Фредерик (1811–1886) – французский политический деятель.

ющиеся химерами и ненавистью, вы, творцы женской эмансипации, разрушители семьи, составители обезьяньей родословной, вы, чье имя еще недавно звучало как ругательство, можете радоваться: сбудутся ваши пророчества, быть вашим ученикам жрецами мерзкого будущего!»

В другой своей брошюре, под названием «Католическая партия», он напал на деспотический «Юнивер» и на Вейо¹⁴, хоть и не называл его по имени. Тут де Фаллу, как и прежде, стал в каждой фразе ядовит и извилист. Он боролся с Вейо по-джентльменски и, весь в синяках, отвечал противнику на грубые удары ногой презрительными сарказмами.

Оба они представляли собой две церковные партии, а в церкви раскол разрешается лютой ненавистью. Де Фаллу был хитрей, высокомерней, принадлежа к той либеральной секте, куда уже вошли и Монталамбер, и Кошен¹⁵, и Лакордер, и де Брольи. Он всецело разделял идеи «Корреспондана», журнала, пытавшегося покрыть властные догматы церкви лаком терпимости. Вейо – проще, прямой, срывал маски и о тирании догм крайних монтанистов¹⁶ говорил открыто и без всяких колебаний.

Для своей борьбы Вейо выработал совершенно особый язык, как бы смешав слог Ла Брюйера с говором предместья Гро-Кайу. Нрава Вейо был грубого, и этот полуторжественный-полуплощадной язык казался столь же увесистым, как кастет. Редкостный упрямец и храбрец, Вейо

¹⁴Вейо, Луи (1813–1883) – французский католический публицист. Критиковал романтиков, а также Т. Готье и Бодлера в своих отзывах.

¹⁵Кошен, Никола (1610–1686) – французский гравер, подражал Жаку Калло.

¹⁶Ультрамонтаны – сторонники крайнего направления католицизма; отрицали самостоятельность национальных церквей и защищали право папы римского на вмешательство в светские дела любого государства.

бил своим страшным оружием и вольнодумцев, и епископов, нанося удары то левой, то правой, кидаясь, как бык, на врагов, к какой бы партии они ни принадлежали. Церковь осуждала и эти недозволенные приемы, и эти выходы дуэлянта. И не доверяла ему. Однако же, благодаря своему огромному таланту, католик-хулиган добился всеобщего признания и хотя и ополчил на себя газеты, устроив им разнос в своих «Парижских запахах», но отбил неприятельские наскоки и пинками разогнал всех шавок-бумагомарателей, норотивших вцепиться ему в икры.

Увы, Вейо был необычайно талантлив лишь во время драк. В затишье он сочинял посредственно. Его стихи и романы вызывали жалость. Жгучий язык выдыхался без применения. В состоянии покоя боец превращался в рохлю, а рохля выдавливал из себя банальные литании да сочинял для детей духовные песенки.

Но существовал и другой писатель-апологет, куда более чопорный, сдержанный и велеречивый, чем Вейо, — любимый церковью инквизитор христианского языка Озанам¹⁷. И хотя дез Эссента трудно было удивить, он то и дело поражался, с каким апломбом Озанам, утверждая что-либо неправдоподобное, вместо каких-либо доказательств указывал на непостижимость премудрости Божией. Мало того, он с полнейшим хладнокровием искажал факты, еще бесстыдней, чем апологеты из других партий, оспаривал общеизвестные исторические события, уверял, что церковь никогда не скрывала своего уважения к науке, называл ереси «мерзкими нечистотами» и, понося буддизм и прочие верования, приносил извинения, что запятнал-де католический язык самым упоминанием о них.

¹⁷Озанам, Фредерик (1813–1853) — французский католический историк.

По временам, правда, религиозная страсть раскаляла это красноречие, и под словесными льдами бурлило тогда неистовство. О чем бы ни писал он – о Данте, св. Франциске, авторе «Stabat»¹⁸, поэтах-францисканцах, социализме или коммерческом праве, – во всем Озанам отстаивал непогрешимость церкви. Считал он точку зрения Ватикана непоколебимой и все оценивал лишь по степени близости к ней или удаленности от нее.

Точно так же рассматривал все с одной-единственной точки зрения и другой писатель, вернее, сочинитель, Неттен. Соперников у него не имелось. Сей автор был не столько напыщенным и важным, сколько светским. В отличие от Озанам он не подверг себя заточению в литературном монастыре. Он отправился в мир, чтобы составить представление о мирских писаньях и дать им надлежащую оценку. Озанам пустился в путь, подобно дитяте, которое очутилось в погребу и, продвигаясь на ощупь, не видит и не слышит ничего во тьме, за исключением огонька и потрескивания свечи, которую держит перед собой.

В кромешной тьме незнания он на каждом шагу спотыкался, утверждая, что у Мюрже¹⁹ «чеканный, отточенный стиль» и что Гюго – любитель нечистот и мерзости, и осмеливался сравнивать с ним Лапрада²⁰, презиравшего пра-

¹⁸ «Stabat mater dolorosa» («Его мать стояла, страдая», лат.) – прозаический текст о Деве Марии перед крестом; пелся в католических храмах в Великий четверг на страстной неделе. Автор слов не установлен, одни приписывают текст монаху Джакопоне, жившему в XIV в., другие считают автором папу Иннокентия III. Музыку к тексту писали Перголезе, Гайдн, Россини.

¹⁹ Мюрже, Генри (1822–1861) – французский писатель, был секретарем Толстого, известен своим произведением «Сцены из жизни богемы» (1848).

²⁰ Лапрад, Виктор Ришар де (1812–1883) – французский поэт, подражал Ламартину. Автор сборника стихов «Думы Мадлен» (1829).

вила Делакруа, Поля Делароша²¹ и поэта по имени Рибуль, которого восхвалял за якобы глубокую веру.

Дез Эссент только пожимал плечами, обращаясь к этим жалким суждениям – прозе совершенно бессильной, ветхой, трещавшей по всем швам.

Но, с другой стороны, ничуть не больше занимали его Пужоль²², Генуд²³, Монталамбер, Николя и Карпе. И, любя историю, он все же остался равнодушен к детальным, содержательным трудам и добротному языку графа де Брольи. И, интересуясь социологией и религией, безо всякой охоты прочел Анри Кошена, хоть и оценил его дар письма – волнующее описание монашеского пострига в Сакре-Кер. Давно уже дез Эссент не перечитывал этих книг, убрав с глаз долой вместе со старыми и ненужными бумагами и устаревшего Понмартена²⁴ с его простодушным витийством, и глупца Февалья²⁵. Слуг же на хозяйственные нужды он одарил святыми сказаниями. Их сочинители, бездарные агиографы дез Обино и де Лассер, описывали чудеса, творившиеся монсеньером Дюпоном Турским и Пресвятой Девой.

Словом, церковная литература даже мимолетно не могла развеять Дезэссентовой скуки. И все эти книги он задвинул в самые дальние и темные углы своей библиотеки. А ведь когда-то, только-только закончив иезуитскую школу, он так прилежно их изучал. «Но уж их-то я напрасно не оставил в Париже», – сказал он себе, заставляя други-

²¹Деларош, Поль (1797–1856) – родоначальник натуралистического течения во французской исторической живописи.

²²Пужоль, Жан Жозеф Франсуа (1808–1880) – французский историк.

²³Генуд, Антуан Эжен (1792–1849) – французский публицист.)

²⁴Понмартен, Арман де (1811–1890) – французский критик-моралист.

²⁵Феваль, Поль (1817–1887) – французский романист, драматург.

ми томами особенно невыносимого ему аббата Ламеннэ²⁶ и безнадежного фанатика, велеречивого и при этом пусто-го графа Жозефа де Местра²⁷.

Одна-единственная книга осталась стоять на полке у него под рукой – «Человек» Эрнеста Элло²⁸.

Элло был полной противоположностью собратьев по вере. В своем благочестивом кружке он всех настроил против себя, остался один и в конце концов сошел с великого пути, соединяющего небо и землю. Элло, видимо, претили его проторенность и сонм тех путников-письмонош, которые от века к веку шли друг за другом, ни на йоту не отклоняясь в сторону, и, останавливаясь передохнуть в одних и тех же местах, пускались в беседы о все тех же вере, отцах церкви, сходных упованиях и общих наставниках. Элло пошел окольной дорогой, набрел на мрачную Паскалеву пустынь, перевел там дух, а затем, продолжив странствие, еще раньше янсениста, которого, впрочем, подверг осмеянию, достиг пределов человеческого разума.

Манерный и вычурный, заумный и дидактичный, Элло своими тончайшими хитросплетениями мысли напомнил дез Эссенту о скрупулезности и догматичности методов работы неверующих психологов двух последних столетий. Он был как бы католическим Дюранти²⁹, но в чем-то казался даже догматичней и резче – любитель и мастер глядеть в лупу, опытный инженер души, пытливый механик мозга, жаждущий исследовать механизм страсти и подробно объяснить его сложное устройство.

²⁶Ламеннэ, *Фелисите Робер де (1782–1854)* – французский философ, писатель, христианский социалист.

²⁷Граф де Местр, *Жозеф (1753–1821)* – французский философ, политик.

²⁸Элло, *Эрнест (1828–1885)* – французский критик.

²⁹Дюранти, *Луи Эдмон (1833–1880)* – французский критик, романист.

В этом странном уме возникали самые неожиданные повороты мысли, тезы и антитезы, появлялись самые удивительные ассоциации, которые перебрасывали мостик от этимологии слов к идеям: порой они выглядели сомнительными, но всегда занятыми и живыми.

И хотя этим построениям не хватало чувства меры, в них с необыкновенной пронизательностью давался анализ «скудости», «заурядности», «моды», «страсти быть несчастным», а также проводилась весьма любопытная аналогия между работой памяти и принципом фотографии.

Искусством анализа, украденным им у врагов церкви, Элло владел в совершенстве. Однако был он не только виртуозным аналитиком.

Существовало еще одно его лицо. Когда оно проступало в нем, то возникал фанатик веры, библейский пророк.

Как и Гюго, которого он напоминал зигзагами своих мыслей и фраз, Эрнест Элло любил примерять одежды св. Иоанна Богослова. И витийствовал и вещал Элло с Патмоса улицы Сен-Сюльпис. И взывал к читателю гласом Апокалипсиса, а местами плакал горькими слезами Исайи.

Что говорить, притязания Элло были непомерны, но некоторые из сочувствующих ему кричали «Гениально!» и доказывали, что он «великий человек, столп современной науки». Может, оно и так, да только внутри этот столп — сплошная червоточина.

В книге же «Глаголы Божьи», где толкование Евангелия способно затемнить даже его самые понятные места, равно как и в сочинении под названием «Человек» и написанном по-пророчески порывисто и не всегда ясно трактате «День Господень», Элло предстает горделивым и желчным апостолом мщениия, бьющимся в припадке мистической падучей дьяконом-эпилептиком — таким даровитым де Местром, злобным и свирепым сектантом.

Из-за этой болезненной распущенности, считал дез Эссент, казуист в Элло и брал верх над творческой личностью. Он был еще нетерпимее Озанама и, отрицая все, что не принадлежало к его владениям, утверждал аксиомы самые невероятные. Он поразительно властно, не допуская и тени сомнения, заявлял, что геология «вновь повернулась к Моисею», что естественная история и химия, подобно современной науке в целом, подтверждают научную непогрешимость Библии. На каждой его странице отстаивалась мысль о Божественной полноте истины. Ученость церкви объявлялась им сверхчеловеческой. И все это перемежалось более чем смелыми афоризмами, тогда как на искусство нынешнего века обрушивался поток хулы.

В сей странный сплав вкраплялась любовь к созерцанию и безмолвию. Поэтому он взялся за перевод «Видений» Анжело де Фолиньо³⁰, опуса на редкость тягучего и глупого, а также избранных сочинений Иоанна Рейсбрука Удивительного, мистика XIII века, в чьей прозе странным, но вместе с тем завораживающим образом дополняли друг друга порывы веры, сладостные откровения, горечь отчаяния.

Элло написал к этой книге совершенно невразумительное предисловие, где принимал позу высокомерного верховного жреца и возвещал, что «о сверхъестественном можно говорить лишь косноязычно». И действительно впал в косноязычие, утверждая, что «священные сумерки, над которыми распростер свои орлиные крыла Рейсбрук, суть его удел, океан и слава, а четыре стороны света слишком тесны для его полета».

³⁰ Анжело де Фолиньо, блаженный (1248–1309) – итальянский мистик, принадлежал к ордену св. Франциска. Его книга «Древо жизни Иисуса Распятого» («*Arbor vitae crucifixae Iesu*») считается вершиной мистической литературы. Оказала влияние на св. Франциска Сальского и др.

Но, как бы там ни было, дез Эссента влек этот тонкий, хотя и неуравновешенный, ум. Элло-психолог не был тождествен Элло-богомольцу – беспорядочность, даже бесвязность составляли все его своеобразие.

За Элло следовал целый строй, так сказать, церемониальных писателей-клерикалов. К основной части армии они не принадлежали, а служили как бы барабанщиками веры. Истинным талантам, подобно Вейо и Элло, церковь не доверяла, ибо они были бунтарями и оригиналами. В сущности, ей требовались солдаты, без всяких рассуждений выполняющие приказ, – та масса, о которой Элло говорил с яростью человека, испытавшего ее гнет. И потому католицизм отверг одного из самых горячих своих сторонников, неистового памфлетиста, писавшего как по-юношески задиристо и жестоко, так и до невозможности манерно, – Леона Блуа. По той же причине из всех католических издательств, будто прокаженный и несмотря на то, что как мог славил церковь, был изгнан другой писатель – Барбе д'Оревилль³¹.

По правде сказать, последний был слишком опасен, слишком строптив. Ведь остальные по большей части, получая выговор, стыдливо склоняли голову и смирялись. Этот же стал как бы церковным выродком, шалуном-проказником. Прямо-таки бегал за женщинами сомнительного поведения, в совершенно непотребном виде приводил их в святилище. И презрение к нему церкви – а подобный талант она всегда презирает – было поистине безгранично. Иначе по всем правилам предала бы она анафеме этого странного прихожанина, который бил в храме стекла, жонглировал дароносицами и пускался в неистовые пляски вокруг алтаря.

³¹ Барбе д'Оревилль (1808–1889) – французский писатель-романтик, в 1874 г. выпустил книгу «Дьявольские лики».

Две книги Барбе д'Оревильи особенно возбуждали дез Эссента: «Женатый священник» и «Дьявольские лики». Прочие вещи, такие, как «Околдованная», «Кавалер де Туш», «Старая любовница», конечно, были и ровнее, и в чем-то содержательнее, но оставляли дез Эссента холодным, поскольку интересовался он сочинениями нездоровыми – тронутыми упадком и болезнью.

В своих здоровых вещах Барбе лавировал, стараясь не впасть в две сообщающиеся между собой крайности католической веры – мистицизм и садизм.

Но в этих двух любимых дез Эссентом книгах он утрачивал всякую осторожность и, ослабляя поводья, мчал сломя голову, пока не застывал у самой бездны.

Мистический ужас Средневековья витал над «Женатым священником». Книга была совершенно невероятной: колдовство соседствовало в ней с верой и заговор с молитвой, а Бог Карающий, не зная снисхождения, терзал и терзал проклятую им Калисту, начертав ей на лбу красный крест – тот самый, которым рукою ангела метил некогда жилища осужденных им на гибель нечестивцев.

Могло показаться, что задумал эту книгу измученный постами и горячкой монах, а писал буйный больной. Только, увы, помимо всех этих повредившихся в уме созданий, напоминавших сгоревшую в чахотке гофмановскую Коппелию³², имелись и другие, подобные Неель де Неу. Они были задуманы автором в момент, когда болезнь на мгновение отступила, и, совершенно не соответствуя общему мрачному безумию, невольно вносили в него комическую ноту, как это делает цинковая фигурка вельможи в мягких сапогах, которая трубит в рог на цоколе стенных часов.

Итак, после приступа мистической горячки у Барбе наступал период относительного спокойствия, но затем

³²Коппелия – персонаж рассказа Гофмана «Песочный человек»

снова приходил черед нового и еще более ужасного приступа.

Вера в то, что человек буриданов осел и борются в нем два различных, но равных по силе и поочередно побеждающих начала, что человеческая жизнь – поле вечной борьбы добра и зла, что возможна вера одновременно и в сатану, и в Христа, – все это неизбежно вело к разладу души, когда она, изнемогая от тяжести борьбы, угроз и ожиданий, в конце концов отказывается от сопротивления и отдается во власть тому, кто приступал к ней с большим упорством.

В «Женатом священнике» Барбе славословит победившего Христа. Но в «Дьявольских ликах» верх берет дьявол, и его хвалит Барбе. Так возникает садизм, побочный плод веры, с которым католицизм на протяжении многих столетий боролся посредством костров и экзорсизма.

Это удивительное, почти не поддающееся определению состояние не может, однако, овладеть неверующим. Ведь оно не в телесных пороках и бесчинствах, не в кровавом насилии – в этом случае речь шла бы только об отклонении от нормы, о сатириазисе в крайней его форме. Нет, подобное трудноопределимое состояние – в нравственном мятеже, умственном распутстве, богохульстве, в повреждении высшего, христианского рода. Это состояние – в наслаждении, обостренном страхом, и подобно радости ребенка, который, послушавшись родителей, играет какой-то вещицей только потому, что они строго-настрого запретили ее трогать.

И в самом деле, нет богохульства – нет и условий для садизма. С другой стороны, богохульство и материи, ему подобные, имеют религиозные истоки, а значит, именно верующий отваживается на них, и отваживается намеренно, ибо что за сладость осквернять закон, который и не дорог тебе, и неведом.

Сила садизма, привлекательность его заключена, стало быть, в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу, то есть послушаться заповедей, даже исполнить их наоборот, содейть во глумление над Христом грехи, прежде прочих осужденные Им, – богохульство и блуд.

В сущности, явление, которому маркиз де Сад³³ дал свое имя, старо как церковь: уже в XIII веке, если не раньше, оно как очевидный феномен атавизма существовало в кощунственных средневековых шабашах. Стоило только заглянуть в «*Malleus maleficarum*», чудовищный кодекс Якоба Шпренгера³⁴, позволивший церкви отправить на костер тысячи некромантов и колдунов, – и дез Эссент узнавал в шабаше все непотребство и кощунство садизма. Но, помимо мерзостей на радость лукавому – ночей совокупленья, ночей, поочередно посвященных то блюду «дозволенному», то извращенному, – дез Эссент различал тут кроме звериной случки еще и нечто иное: пародию церковной службы. Бога хулили, оскорбляли, сатане молились и, проклиная священные хлеб и вино, служили черную мессу на спине стоявшей на четвереньках женщины. Ее обнаженное, полное скверны тело было алтарем, а его служители причащали, для пушего смеха, черной облаткой с изображением козла.

Грязных насмешек и сальностей был исполнен маркиз де Сад. Кощунственными оскорблениями сдобривал он свои рискованно-сладострастные описания.

³³Маркиз де Сад, Донасьен Альфонс Франсуа (1740–1814) – французский писатель, автор порнографических романов. В «Эссе о романах» высказал парадокс в духе дез Эссента: «Я изображаю порок омерзительным. Хотите знать, почему? Я не желаю пробуждать любовь к пороку».

³⁴«Молот ведьм», четырехтомный трактат Шпренгера, напечатанный во Франкфурте в 1598 г., был самым знаменитым учебником инквизиторов.

Де Сад хулил небеса, взывал к Люциферу, называл Бога ничтожеством, злодеем, глупцом, плевал на причастие и поносил его, силился осквернить и проклясть Божественную природу Господа и, наконец, объявлял, что таковой нет вовсе.

Подобное душевное состояние лелеял в себе и Барбе д'Оревилли. Правда, в хуле и проклятьях Спасителю он не зашел так далеко, как де Сад. Из осторожности ли, из страха, но он уверял, что чтит церковь. И тем не менее взывал к сатане, из кощунства впадал в бесовскую эротоманию, придумывал различные чувственные пакости и даже позаимствовал из «Философии в будуаре» некий эпизод для своего «Обеда атеиста», добавив в него еще большую пряность.

Дез Эссент буквально упивался бесстыдной книгой Барбе и даже издал «Дьявольские лики» в одном экземпляре, в переплете епископско-лилового цвета, на настоящем пергаменте, освященном церковью, с кардинальско-пурпурной каймой на каждой странице и изысканным шрифтом: кончики у букв раздваивались хвостиками и коготками, в завитках которых проглядывало нечто сатанинское.

За исключением некоторых бодлеровских вещей, вторивших песнопениям шабашей и черных месс, книга Барбе была единственной среди всей современной литературы, обнаруживавшей то одновременно благоговейное и нечестивое состояние духа, в котором пребывал дез Эссент в результате невроза и кризиса веры.

На Барбе д'Оревилли церковные книги в библиотеке дез Эссента заканчивались. Да и этот пария, по правде, хотел того или нет, принадлежал скорее светской литературе, нежели тем сферам, куда намеревался проникнуть и откуда изгонялся. Его неистребимо романтический язык переполняли необычные обороты, совершенно невозможные

слова и сравнения. Он взмахивал фразой, как хлыстом, а та гремела, как звонкий колокольчик. Иначе говоря, среди меринов, переполнявших ультрамонтанские конюшни, Барбе д'Оревильи был явным племенным жеребцом.

Дез Эссент размышлял об этом, когда перечитывал куски из Барбе, сравнивая этот нервный и пестрый слог с безжизненным и тусклым слогом его собратьев по перу, и думал об эволюции, столь верно замеченной Дарвином.

Пройдя школу романтизма и выйдя в люди, Барбе был связан с новейшей литературой, знал всю ее кухню. Он не мог не писать на языке, который пережил столь сильное и глубокое обновление.

Церковные же писатели сидели взаперти, в четырех стенах, за древними фолиантами, не зная и не желая знать ничего о том, в каком направлении развивалась словесность. И писали они на мертвом языке, словно те потомки французов, поселившихся в Канаде, которые бегло говорят и пишут по-французски, но их французский остается языком XVIII века: ничто не изменилось в их наречии, изолированном от прежней метрополии и попавшем в сплошное англоязычное окружение.

Между тем серебристый колокольчик отзвонил *Angelus*³⁵ и призвал дез Эссента к обеду. Он захлопнул книгу, смахнул пот со лба и пошел в столовую, говоря себе, что из всех просмотренных им книг сочинения Барбе были единственными, идеи и стиль которых несли в себе семена того распада, ту атмосферу перезрелости и сладкого тлена, которыми нежил себя дез Эссент при чтении и языческих, и церковных декадентов былых времен.

³⁵*Angelus* – Анжелюс – колокольный звон к утренней, полуденной или вечерней молитве, начинавшейся словами «*Angelus Domini*» («Ангел Господень»).

ГЛАВА XIII

Погода становилась все хуже. С недавних пор все времена года смешались. Туманы и ливни уступили место раскаленному небу, сверкавшему на горизонте, как кровельное железо. В два дня, без всякого перехода, ледяная сырость тумана сменилась иссушающим зноем. Воздух был невыносимо тяжел. Солнце, словно разворошенное кочергой пламя в топке, вспыхнуло и излучало жгучий, слепящий свет. Тучи огненной пыли поднялись над обожженными дорогами, испепеляя сухую листву и жухлые травы. В глазах рябило от белизны стен, оцинкованных крыш и оконных стекол. В доме дез Эссента было жарко, как в плавильне.

И без того едва одетый, дез Эссент открыл окно. Прямо в лицо ему ударило печным жаром. В столовой, куда он вошел, нечем было дышать, воздух раскалился до предела и почти кипел. Дез Эссента оставили силы, и он тоскливо рухнул на стул: столь приятно поддерживавшее его во время грез и рассматривания книг возбуждение прошло.

Жара угнетала и подавляла его, как всех невротиков. Вспотев, дез Эссент ослаб, и анемия, холодом обычно сдерживаемая, теперь снова забирала над ним власть.

Рубашка прилипла к спине, пот солеными ручейками струился по лбу и щекам. Дез Эссент совершенно обмяк. Тут он глянул на стол, и вид мяса на тарелке вызвал у не-

го тошноту. Он велел унести его, спросил яиц всмятку, попробовал есть, макая ломтики хлеба в яйцо, но они застре-вали в горле. Тошнота подступила сильнее. Дез Эссент пригубил рюмку вина, но оно вызвало горечь во рту. Смахнул пот с лица: еще минуту назад он был горячим, теперь – холодным. Чтобы перебороть тошноту, стал сосать кусочки льда, однако и это не помогло.

В полном изнеможении он приник к столу. Не хватало воздуха. Он выпрямился, но тогда съеденный хлеб подступил к горлу и не давал дышать. Никогда еще дез Эссент не чувствовал себя таким потерянным, разбитым и бессильным. В глазах у него плыло, двоилось, кружилось. Вскоре он утратил чувство расстояния. Рюмка, казалось, отодвинулась чуть ли не на милю от него. Он понял, что это галлюцинация, однако ничего с этим не мог поделать, растянулся на канаве в большой столовой, и его, словно в лодке, укачало. Тошнота сделалась нестерпимой. Дез Эссент снова поднялся и решил принять лекарство, чтобы наконец избавиться от душивших его яиц с хлебом.

Он вернулся в комнату-каюту, и ему почудилось, что он и впрямь на корабле и страдает от морской болезни. Шатаясь, подошел он к шкафчику, осмотрел свой «губной орган», но, не воспользовавшись им, снял с верхней полки бутылку бенедиктина, которую хранил из-за ее формы, настроивавшей его на мелодию томную и смутно-мистическую.

Теперь, однако, никакой мелодии не возникло. Дез Эссент бросил безжизненный взгляд на пузатую темно-зеленую бутылочку. А ведь прежде она напоминала ему нечто средневековое своим монастырским брюшком, пергаментным кагаошоном, красным восковым гербом с тремя серебряными митрами на синем поле, горлышком, запечатанным, как папская булла, свинцовой печатью, а также пожелтевшей от времени этикеткой, которая по-латински

звучно гласила: «Liquor Monachorum Benedictinorum Abbatiae Fiscanensis».

Под этим почти что монашеским одеянием с крестом и церковными инициалами «Д. О. М.», подобно старинной хартии в пергаменте и печатях, дремал вкуснейший ликер шафранного цвета. От него исходило благоухание иссопа и дягиля, слегка приправленное йодом, бромом и мятной сладостью морских водорослей.

С виду букет этот был чистым, девственным, невинным, однако обжигал небо спиртовым пламенем, а легкая капля порочности, смешиваясь с общей атмосферой неповрежденности и благочестия, томила обоняние.

Это-то лицемерие, возникающее из-за сильного противоречия между видимостью и сущностью, между древней литургической формой сосуда и его современным, во многом дамским содержанием, и настраивало некогда дез Эссента на мечтательный лад. Он заодно представлял себе тех, кто изготовил этот напиток, — бенедиктинцев из аббатства в местечке Фекан. Оно принадлежало к конгрегации св. Мавра, которая прославилась своими трудами по богословию. Его монахи хотя и называли себя бенедиктинцами, но не соблюдали устава ни белого монашества из Цистерциума, ни черного из Ключи. И дез Эссент не мог не внушить себе, что они, точно в средние века, выращивают лекарственные травы, следят за бульканьем в ретортах и получают в своих колбах чудодейственные отвары и эликсиры.

Дез Эссент проглотил несколько капель ликера и на некоторое время почувствовал себя лучше, но вскоре изжога, подогретая выпитым, снова напомнила о себе. Он отшвырнул салфетку, вернулся в кабинет и стал бродить взад-вперед. Ему казалось, что он находится под стеклянным колпаком, откуда постепенно выкачивают воздух. В

голове у него возникла боль и волной прошла по всему телу. Он собрался с силами и, не выдержав всего этого, отправился, наверное, впервые с тех пор, как обосновался в Фонтенее, в сад. Найдя тенистый уголок, он уселся на траву под деревом, и его невидящий взгляд упал на прямоугольные ряды грядок с овощами, посаженные его прислугой. Лишь через час дез Эссент увидел их с полной ясностью – перед глазами у него стоял зеленоватый туман, сквозь который проступали неясные и расплывчатые образы.

Наконец, придя в себя, он увидел на грядках лук и капусту. Чуть дальше зеленел латук, еще дальше, вдоль изгороди, подчеркивая тяжесть воздуха, недвижно белели лилии.

Дез Эссент улыбнулся, потому что внезапно вспомнил странное сравнение старика Никандра, утверждавшего, что своей формой пестик лилии похож на ослиные гениталии. И тут же ему пришел на память фрагмент из Альбера Великого, в котором этот праведник своеобразно описывает, как с помощью латука проверить непорочность девицы.

Эта мысль слегка развеселила дез Эссента. Он не без любопытства осмотрел сад, цветы, увядшие от жары, обратил внимание на землю, дымившуюся в раскаленном, словно насыщенном пороховой гарью, воздухе. Потом, за изгородью, отделявшей сад от дороги в лес, он заметил детей, возившихся на солнцепеке.

Он всмотрелся в них, выделил самого маленького и грязного. Волосы у мальчугана торчали, будто бурые водоросли с песком, под носом висели две зеленые капли, рот был отвратителен, в присохших крошках: малый жевал хлеб с белым домашним сыром и крошеным зеленым луком.

Дез Эссент принялся – и вдруг дико, чудовищно захотел есть. От мерзкого бутерброда у него потекли слюн-

ки. Он решил, что на сей раз его желудок справится с подобной гадостью, ему даже показалось, что это будет очень вкусно.

Он вскочил, бросился на кухню, велел пойти в деревню, купить булку, творожный сыр, лук и приготовить ему бутерброд – такой же, какой уплетал мальчишка. Затем он вернулся в сад под свое дерево.

Теперь мальчишки дрались. Ударами рук и ног они избивали тех, кто был слабее и валялся на земле, рыдая от ссадин.

Зрелище драки оживило дез Эссента и отвлекло от мыслей о своей болезни. Глядя на ожесточение и злобу дерущихся, он сказал себе, что так же зла и безобразна борьба за существование. И хотя эти дети черни были ему отвратительны, он все же смотрел на них с интересом и известным сочувствием, полагая, что для них лучше было бы и вовсе не родиться.

А ведь и в самом деле: подзатыльники и детские недуги – сыпь, краснуха, жар, колики – ждали их в младенчестве; побои и тупая работа – годам к тринадцати; женская ложь, болезни, измены – в зрелости, агония долгой кончины в ночлежках и богадельнях – в старости.

Словом, всех их ожидало одно и то же будущее, которое никто из людей здравомыслящих не пожелал бы себе. Богатые, правда, жили по-иному, но и им были известны сходные страсти, тревоги, труды и болезни. Наслаждение, что от выпивки, что от чтения, что от любовных излишеств, часто мстило за себя. Существовала даже некая справедливость, некая всеуравнивающая сила страдания: богачи были более болезненными и хрупкими, чем бедняки, чаще их страдали физически.

«Что за безумие – рожать детей! – думал дез Эссент. – И до чего непоследовательно духовенство: приносит обет

безбрачия и вместе с тем канонизирует Винсента де Поля за то, что тот обрек невинных младенцев на ничем не оправданные муки!»

Ведь именно он своими чудовищными мерами на долгие годы отсрочил кончину существ, которые были не в состоянии ни мыслить, ни выражать свои чувства, но со временем почти обрели разум, во всяком случае, реагировали на боль, узнали, что существует будущее, и со страхом ждали неведомой им смерти, а иногда даже звали ее, ненавидя и проклиная жизнь, навязанную им по абсурдному церковному установлению!

Старик де Поль умер, идеи его процветали. Брошенных детей, вместо того чтобы дать им тихо, неосознанно для них самих умереть, подбирали, спасали, тогда как их спасенная жизнь с каждым днем становилась все суровой и мучительней! Прибавим к этому, что во имя, видите ли, свободы и прогресса общество нашло способ сделать жалкое человеческое существование совсем невыносимым, то есть вытащило человека из дома, вырядило шутом гороховым, вложило в руки оружие и обратило в рабство – хотя из сострадания давно избавило от рабства негров, – и все для того, чтобы убивать и не страшиться виселицы, в отличие от заурядных убийц – одиночек, не носящих мундира и выбирающих оружие поскромнее и потише.

Что за дикая эпоха, размышлял дез Эсеент: на благо человека стремится усовершенствовать анестезирующие средства для облегчения физических страданий, но параллельно с этим делает все возможное для усиления страданий моральных!

Уж если жалости ради и запрещать деторождение, то именно сейчас! Но до сих пор так никто и не отменил жестоких и нелепых законов, введенных в действие всякими Порталисами и Омэ!

Правосудие считало вполне допустимым всевозможные трюки с зачатием. В любом, и даже весьма состоятельном, семействе нежелательный плод вытравляли или прибегали к общедоступным аптечным средствам, и никому в голову не приходило это порицать. Правда, не подействуй эти средства и хитрости, не удайся обман – тогда наступал черед мер куда более решительных. Но увы! На это не хватило бы всех тюрем и острогов. А призывали бы к расправе над виноватыми те, кто сам прилежно мошенничает на супружеском ложе, дабы не производить на свет потомства!

Получалось, что сам по себе обман не был преступлением – преступлением считалось искоренение обмана.

Иными словами, убийство появившегося на свет человека является (с общественной точки зрения) бесспорным преступлением. Однако не меньшее преступление – убийство плода, каким бы не до конца сформировавшимся и не во всем жизнеспособным (и, что говорить, не вполне разумным и более уродливым, чем котенок или щенок, которых вообще безнаказанно топят!) ни было это существо!

Мало того, рассуждал дез Эсеент, окончательное торжество закона в том, что неосторожный мужчина, как правило, из всего выпутывается, но именно женщина, жертва неосторожности, если сохранит жизнь младенцу, одна потом за все расплачивается!

Подумать только, мир до того закоснел в предрассудках, что запрещает самые естественные порывы, которые примитивный человек, дикарь-полинезиец, совершает, направляемый одним лишь инстинктом!

Слуга прервал сии человеколюбивые размышления дез Эссента, принеся ему на серебряном подносе испрошенный бутерброд. Дез Эссента опять затошнило. Недавние голодные спазмы прошли, и он так и не решился отведать

своей булки с сыром. Вернулось ощущение бессилия. Дез Эссент вынужден был подняться: солнце катилось дальше и вытесняло тень. Жара делалась еще тяжелее и изнурительней.

– Отдайте-ка булку, – велел он, – тем детям, вон они на дороге дерутся. Самым слабым ни кусочка не достанется. Их поколотят товарищи, а дома вздуют родители за рваные штаны и фонарь под глазом. Это даст им хорошее представление о будущей жизни! – И дез Эссент вернулся в дом и без сил повалился в кресло. – Все-таки надо съесть что-нибудь, – пробормотал он. И обмакнул сухарик в вино. Это была старая «Констанция» с клеймом «Ж.-Б. Клоэт» – в погребе у дез Эссента оставалось несколько таких бутылок.

Вино цвета луковой шелухи, чуть жженой, напоминало выдержанную малагу и портвейн, но обладало своим особым букетом и привкусом как бы на солнце высушенного, сахаристого винограда. Прежде оно подкрепляло дез Эссента и вливало новые силы в его желудок, ослабленный вынужденными постами. На этот раз, однако, проверенное средство не подействовало. Тогда он решил, что может остудить внутренний жар чем-то смягчительным, и налил себе русского ликера «Nalifka» из приятной на ощупь бутылки тусклого золота. Сладкий малиновый напиток также не подействовал. Что скажешь! Прошли те времена, когда он, совершенно здоровый, садился у себя в поместье в разгар лета в сани, надевал шубу, запахивался в нее, обхватывал себя руками, воображая, что замерзает, и, старательно стуча зубами, восклицал: «До чего ледяной ветер! Окоченеть можно!» И ему казалось, что и впрямь холодно!

Теперь, когда здоровье ушло, эти средства, увы, не помогали.

Однако и принимать лауданум он был не в состоянии. Это успокоительное не только не помогало, но даже, наоборот, лишало покоя. Раньше, в давние времена, дез Эссент галлюцинаций ради пробовал было гашиш и опий, но наркотики лишь вызвали рвоту и нервное расстройство. Пришлось от них немедленно отказаться, пренебречь грубыми возбуждающими средствами и, в надежде перенестись из реальности в грезы, полагаться исключительно на собственное воображение.

— Ну и денек! — отдувался он теперь, отирая потную шею и чувствуя, как с испариной уходят последние силы. Возбуждение, впрочем, не проходило, и дез Эссент не смог усидеть на месте. Он снова стал бродить по комнатам, садясь по очереди во все кресла. Наконец это ему надоело, он остался в кабинете и, склонясь над письменным столом, ни о чем не думая, стал машинально крутить в руках астроябю, положенную, вместо пресс-папье, на грудку книг и бумаг.

Этот гравированный золоченой меди прибор немецкой работы XVII века дез Эссент приобрел у одного парижского старьевщика после того, как побывал в музее Клюни, где его привела в восхищение музейная астроябю из резной слоновой кости с совершенно восхитительным каббалистическим узором.

Пресс-папье на столе вызвало к жизни целый рой воспоминаний. Мысли, благодаря драгоценной вещице, пришли в движение, сгустились до образа и перенесли дез Эссента в Париж — сперва в антикварную лавку, где он купил ее, затем в музей Терм. И дез Эссент, глядя на свою узорчатую медную астроябю, видел теперь на ее месте ту костяную, клюнийскую.

Вот он вышел из музея и, не покидая черты города, отправился на прогулку, побродил по улице Сомрар, бульва-

ру Сен-Мишель, по соседним улицам, постоял у магазинчиков, богатству и вкусу которых он столько раз поражался.

Музейная астролябия в памяти дез Эссента сменилась кабачками Латинского квартала.

Он вспомнил, сколько их было ближе к Одеону, на улицах Месье-ле-Прэнс и Вожирар. Иногда нагромождение кабачков напоминало вереницу однообразных прогулочных лодок на Селедочном канале в Антверпене.

И, словно наяву, сквозь полуоткрытые двери и затемненные занавесями или витражами окна он вновь увидел женщин: одни лениво бродили, вытягивая, как гусыни, шею, другие сидели, облокотясь на мрамор столиков, и что-то жевали или напевали, третьи, стоя у зеркала, прихорашивались и перебирали напомаженные парикмахером кудряшки, а иные, высыпав серебро или медь из кошельков со сломанными замочками, складывали из монет столбик за столбиком. Почти у всех черты лица были грубы, голоса хриплы, груди отвислы, глаза густо подкрашены. И все, словно механизмы, заведенные на равное число оборотов, хихикая и отпуская одни и те же намеки и сальные шуточки одинаковыми словами, зазывали к себе мужчин.

Улочки с бесконечными кафе, увиденными как бы с высоты птичьего полета, вызвали у дез Эссента кое-какие ассоциации. Ему стал ясен смысл этих заведений. Они в точности отвечали настроению целого поколения и сполна выражали определенную эпоху.

Ее признаки со всей очевидностью были налицо: дома терпимости один за другим закрывались, и по мере их исчезновения множилось количество выставших на этом же самом месте дешевых кафе.

Сокращение проституции в пользу тайных амуров объяснялось, по-видимому, особенностями мужской психологии.

Как ни странно это могло показаться, но забегаловка способствовала достижению некоего идеала!

Несмотря на то что утилитаризм, который был получен в наследство и развит ранним хамством, а также вечной грубостью однокашников, сделал молодежь на редкость бесцеремонной, деловитой и холодной, молодые люди в глубине души по-прежнему оставались сентиментальными и сохраняли идеал старомодной рыцарственной любви.

И теперь, когда в мужчинах кипела кровь, они не решались так просто войти, получить свое согласно заплаченному и выйти. В этом было бы, по их мнению, что-то скотское, вроде собачьей свадьбы. Вдобавок тщеславие отвращало их от публичного дома, ведь ни видимости сопротивления, ни подобия победы, ни надежды, что выберут именно тебя, а не другого, тут не имелось. Не было здесь даже и произвольной щедрости красавицы – ласки она отмеривала в строгом соответствии с полученной суммой.

Зато, напротив, ухаживание за барышней из кафе сохраняло все прелести любви и тонкость чувства. За благосклонность дамы приходилось бороться, и тот счастливчик, которому она назначала, надо сказать, более чем щедро оплаченное свидание, совершенно искренне считал, что одержал над соперником верх и удостоился редчайшей милости.

В то же время эти прелестницы были так же недалеко, корыстны, мерзки и всем пресыщены, как и милашки из веселых домов. И так же фальшиво пили они и смеялись, так же обожали грубые ласки, так же бранились и вцеплялись друг другу в волосы по каждому пустяку. Мало того, молодые парижане упорно не хотели замечать, что подавальщицы из кафе по красоте нарядов и манерам решительно уступали девицам из дорогих гостиных! «О Господи, – изумлялся дез Эссент, – какие же болваны эти кавалеры!»

леры из пивной! Ладно бы только строили иллюзии! Они не замечают, как рискуют, заглатывая гнилую наживку, сколько денег изводят на выпивку, стоимость которой хозяйка установила заранее, сколько времени теряют на ожидание ласк, отсроченных, чтобы поднять цену, сколько чаевых переплачивают оттого, что уплата по счету нарочно до поры до времени отложена!»

Эта смесь идиотской сентиментальности с торгашеской хваткой и была отличительной чертой эпохи. Одни и те же люди могли за грош удавить ближнего, но теряли голову и млели в обществе обхаживающей их и нещадно обирающей кабатчицы. Работали фабрики и заводы, отцы семейств под предлогом конкуренции стремились обмануть друг друга и разорить. А сыновья прикарманивали полученную прибыль и шли к этим душенькам. Душеньки же обирали сердечных дружков.

По всему Парижу, с юга на север и с запада на восток, катилась волна вымогательств и грабежей только потому, что красотка не откликнулась на порыв мужчины немедленно, а заставляла, видите ли, томиться и ждать!

В общем, вся мудрость человеческая заключалась в проволочке и промедлении. Сначала сказать «нет» и только потом, позже — «да». Потому что потратишь молодежь — значит, укротишь.

— Эх, если б с желудком так же! — вздохнул дез Эссент: новый приступ боли вернул его с небес в Фонтеней.

ГЛАВА XIV

Кое-как прошло несколько дней. Дез Эссент пускался на всевозможные хитрости, и тогда желудочная боль отступала. Но однажды утром желудок не вынес ни маринада, маскировавшего запах жира, ни с кровью поджаренного мяса. Дез Эссент встревожился. Он был и без того слаб, а теперь мог ослабеть еще больше и совсем слечь. Правда, вспыхнула искорка надежды.

Он вспомнил, что когда-то, серьезно заболев, один его приятель особым образом готовил себе пищу и тем самым, одолев анемию и истощение, сохранил остаток сил.

Дез Эссент отправил старика слугу в Париж за драгоценной посудиною и, изучив приложенную к ней инструкцию, самолично объяснил кухарке, что в эту медную кастрюльку следует положить – без воды и жира – мелко нарезанное мясо с кусочком лука-порей и кружком моркови, закрутить крышку и поставить на четыре часа на огонь.

После этого мясо выжималось, и получалась ложка мутного терпкого сока. Его теплая взвесь бархатисто ласкала небо.

От этого бальзама проходили и резь, и тошнота натошак. Соглашаясь на несколько ложек супа, желудок успокаивался.

Чудесное средство помогло. Невроз приостановился, и дез Эссент сказал себе: «Ну вот, уже лучше. А на днях по-

года, может, изменится, спадет жара, и тогда я худо-бедно дотяну до первых холодов».

Дез Эссент погрузился в оцепенение, в праздную скуку. Вид книг, которые он так до конца и не разобрал, начал раздражать его. Из кресла он больше не вставал, и перед глазами у него все время возникал книжный хаос: все на полках стояло криво, книги налезали друг на друга, лежали плашмя или стопками, напоминая колоды карт. Беспорядок в мире светской словесности был тем более неприятен, что сочинения церковные стояли на полках безукоризненными, как на параде, ровными рядами.

Дез Эссент начал было разбирать книги, но через десять минут покрылся испариной. Даже небольшое усилие измучило его. Он без сил растянулся на диване и позволил слуге.

Следуя указаниям хозяина, старик принялся за работу и стал подавать ему книгу за книгой. Дез Эссент их просматривал и указывал, куда ставить.

Работа оказалась недолгой, потому что современных светских книг у дез Эссента было крайне мало.

Он давно прогнал их через свое воображение, как металл через фильеру. Подобно новой проволоке – прочной, легкой, тонкой, готовой для следующей фильеры, – книги уплотнились, сократились, закалились, ожидая очередной прогонки. Стремясь к предельному наслаждению, дез Эссент утончил его, сделал почти неосязаемым. В итоге усилился конфликт между собственными идеями и представлениями того мира, в котором он волею случая от рождения пребывал. И теперь он вообще не мог уже найти себе чтения, которое приносило бы подлинное удовлетворение, и охладел даже к книгам, его самого развившим и утончившим.

Впрочем, в понимании искусства он исходил из одной простой мысли: никаких школ, по мнению дез Эссента, не существовало. О чем бы ни размышлял, ни писал автор, реальный интерес представляла лишь его индивидуальность, работа его мозгов.

Подобная точка зрения, разумеется, неоспорима, достойна Ла Палисса. Вместе с тем на этом, увы, далеко не уедешь по той простой причине, что читатель, даже если отвлечется от собственных пристрастий и предрассудков, все равно предпочтет вещь, которая больше соответствует его темпераменту, а от всех остальных книг отмахнется.

В дез Эссенте этот отсев шел очень медленно. В прежние времена он преклонялся перед величиим Бальзака, но, когда он стал болеть и дали знать о себе нервы, изменились и его вкусы и склонности.

И очень скоро он, хотя и понимал, что несправедлив к создателю «Человеческой комедии», Бальзака совсем забросил. Здоровое бальзаковское искусство оскорбляло его. Ему хотелось теперь совсем другого, хотя и сам он еще не знал, чего именно.

Впрочем, заглянув в себя, дез Эссент осознал, что, во-первых, его влекут произведения странные – в духе той странности, которой добивался Эдгар По, и, во-вторых, открыл, что намерен идти дальше, что жаждет ничем не разрешающейся игры мысли, причудливого распада фразы, что ищет волнующую туманность, чтобы, мечтая и грезя, самому, по собственному усмотрению, или прояснить ее, или еще более затуманить. В общем, дез Эссент мечтал о произведении искусства ради него самого и ради собственного наслаждения. Он желал перенестись вместе с ним – и благодаря ему как возбуждающему зелью или средству передвижения – в те сферы, где чувства его очистятся, а сам он испытает неожиданное потря-

сение, причины которого будет потом искать долго и тщетно.

К тому же, покинув Париж, он все больше отдалялся от современного мира и реальности. Это отдаление невольно сказалось на литературных и художественных вкусах дез Эссента. Он стал сторониться книг и картин с сюжетами из современной жизни.

Теперь дез Эссент утратил способность восхищаться прекрасным, в какую бы форму оно ни облекалось. Так, «Искушение святого Антония» Флобера стало нравиться ему больше, чем «Воспитание чувств»; «Фостэн» Гонкура – больше, чем «Жермини Ласерте»; «Проступок аббата Муре» Золя – больше, чем «Западня». Выбор свой он считал вполне логичным: выбранные им вещи, может, казались менее актуальными, но были животрепещущими и человечными, позволяли проникать в самые тайники писательской души, которую раскрывали нараспашку, выявляли самые заветные порывы и, как и ее творца, уносили дез Эссента прочь от всей этой столь надоевшей ему пошлости жизни.

Вдобавок посредством этих книг он находил и общность взглядов между собой и их авторами, ибо они находились в момент их сочинения в том же самом, что и он, состоянии духа.

Что тут скажешь? Если эпоха, в которую живет человек одаренный, убога и ограничена, то он даже помимо воли тоскует по былому.

Он, творец, не сольется, за редким исключением, со своей средой. Он изучает и наблюдает ее, но в этом изучении и наблюдении нет удовлетворения. И вот он начинает чувствовать в себе нечто странное. Возникает некий смутный образ, питаемый думами и чтением. Пробуждаются и настойчиво дают о себе знать наследственные инстинкты,

оглашения, склонности. Вспоминаются предметы и люди, которые никогда ему не встречались. И вот однажды он наконец вырывается из тюрьмы современности и оказывается на воле – в прошлом, которое, что лишь теперь стало ясно, ему гораздо ближе.

Для одних искомый край – седая древность, исчезнувшие миры, мертвые времена; для других – фантастические города, грезы, более или менее отчетливые образы грядущего, в виде которого предстают, в силу неосознанного атавизма, картины эпох давно минувших.

Вот Флобер живописует величие бескрайних просторов, яркую экзотику. На фоне неотразимых пейзажей варварского мира возникают трепетные, нежные существа, и загадочные, и высокомерные. Являются женщины – и прекрасные, и страдающие.

Художник распознает в них безумие мечты и порыва, но вместе с тем приходит в отчаяние от того, сколь безнадежно пошлы наслаждения, которые сулит им будущее.

Весь темперамент творца выразился в несравненных «Искушении святого Антония» и «Саламбо». Уйдя от ничтожности нашей жизни, Флобер обращается к азиатскому блеску древних времен, к их непостижимым взлетам и падениям, к их мрачному безумию, к их жестокости от скуки – тяжелой скуки, которую не в состоянии исчерпать богатство в молитвы.

А Гонкуры уходили в век XVIII. Прошое столетие манило их элегантностью навек исчезнувшего общества. Красоты морей, бьющих о скалы, и бескрайних пустынь под знойными небесами никогда не возникали в ностальгических гонкуровских романах. Они рисовали придворный парк, будуар, хранивший тепло красавицы и излучавший негу ее страсти, саму красавицу с усталой улыбкой, порочной гримаской, озорным и задумчивым взглядом. И

наделяли они персонажей душой совершенно иной, нежели Флобер, у которого бунт затевался оттого, что никакое новое счастье, даже на исходных рубежах, невозможно. Гонкуровские герои начинали бунтовать, уже познав на своем опыте, сколь бесплодны любые попытки по изобретению небывалой и мудрой любви, а также по обновлению старых как мир и неизменных любовных утех, которые каждая парочка по мере сил пытается разнообразить.

И хотя актриса Фостэн по всем приметам принадлежала нынешнему веку и была современницей своих авторов, роман, однако, был написан под влиянием предков и, унаследовав пряность души, усталость ума и изнеможение чувств, стал детищем минувшего века.

Это было одно из самых дорогих для дез Эссента произведений. И в самом деле, дез Эссент столь жаждал грез, а оно так и навевало их. За каждой зримой строкой проступала незримая, открывавшаяся духовному зрению то по избытку стиля, который давал выход страстям, то, напротив, по фигуре умолчания, за которой угадывалась невыразимая бесконечность души. Этот язык уже не походил на флюберовский. Был он неподражаемо великолепен, и остр, и мрачен, и нервен, и вычурен – способен уловить то неуловимое впечатление, которое действует на чувства и направляет их. И передавал этот язык сложнейшие оттенки эпохи, и без того чрезмерно непростой. Именно гонкуровское слово в общем и целом как нельзя лучше подходило дряхлеющим культурам, ибо им, чтобы найти силы для самовыражения, всегда были нужны свежие оттенки мысли, речи, ритма.

В Риме, благодаря Авзонию, Клавдиану и Рутилию, умиравшее язычество видоизменило строй и просодию латини. Слог этих поэтов, дотошно-педантичный, емкий и

звучный, был сходен, особенно в описании оттенков, полутонов и отражений, со стилем Гонкуров.

А в Париже произошло событие, в истории литературы небывалое: агонизирующий XVIII век, давший и художников, и музыкантов, и скульпторов, и архитекторов, которые выражали его вкусы и доктрины, своего писателя так и не создал! Никто в словесности не смог передать его тронутое небытием изящество и лихорадочные, дорогой ценой купленные наслаждения. Надо было дожидаться Гонкуров. Именно их темперамент был соткан из воспоминаний и сожалений, обостренных к тому же мрачным видением умственного и нравственного падения современного мира. И потому именно Гонкуры, не только в романах на историческую тему, но и в ностальгической «Фостэн», смогли оживить саму душу XVIII века, смогли воплотить ее нервность и утонченность в образе актрисы, которая тратит все силы ума и сердца, чтобы сполна, до изнеможения испить тяжкую чашу любви и искусства!

У Золя ностальгия по иному миру была совершенно другой. Он не устремлялся ни в какие затерянные во мраке истории времена и пространства. Темперамента крепкого, мощного, он любил все обильное, сильное, нравственно здоровое. Ему претили претенциозность грации и нарумяненные прелести прошлого столетия; ему была чужда красавица и жестокость экзотики, миражи древнего Востока со всей его негой и двусмысленностью. Когда же и его охватила ностальгия – начало, в сущности составляющее основу поэзии, – охватило желание бежать прочь от изучаемого им современного мира, он устремился к деревне, той идеальной, где закипали на солнце соки земли. Ему открылись фантастические тучки неба, долгое томление полей, оплодотворяющие ливни пыльцы, которые изливались возбужденными тычинками. Он пришел к како-

му-то гигантскому пантеизму и вопреки, быть может, самому себе создал своим сельским Эдемом, своими Адамом и Евой подобие индуистского эпоса. Его монументальная и не знавшая этикета живопись по-восточному воспевала плоть – материю пульсирующую, живоносную, которая неистово плодится и открывает человеку, в чем смысл танца любви, удушья страсти, инстинктивных ласк, всех проявлений естества.

Из всей французской литературы чтение именно этих трех наставников, вместе с Бодлером, сформировало дез Эссента и привило ему вкус. Однако он столько раз перечитывал их, что наконец этим пресытился, поскольку знал их наизусть, от корки до корки, и, чтобы к ним вернуться, должен был надолго отложить в сторону и хорошенько подзабыть.

Поэтому сейчас он едва раскрывал их, когда брал из рук слуги, и только показывал старику, куда их поставить, обращая внимание, чтобы они стояли в нужном порядке и ровно.

Слуга принес новую кипу книг. Эти не столь его радовали. Однако и среди них он кое-что со временем полюбил. Отдыхая от писателей эпического размаха, он при чтении книг подобного рода даже получал удовольствие от определенного несовершенства. И здесь дез Эссент произвел свой отбор. Среди плотной вязи слов он выискивал фразы, которые искрились и содержали особый заряд, и весь прямо-таки вздрагивал, когда он разряжался в среде, казалось бы, для электричества неподходящей.

Дез Эссенту нравились даже недостатки писателей, если те оставались самими собой, никому не подражали, имели свой почерк. И, может, был прав, считая, что писатель, пусть и несовершенный, но оригинальный и не похожий на других, действует сильнее и пронзительней, чем

выдающиеся мастера. Язык как бы отчаялся передать всю глубину идей и ощущений, и в этих несовершенстве, тревоге, надрыве, как полагал дез Эссент, — источник самых сильных чувств, прихотливых печалей и невообразимых изломов.

Таким образом, помимо четырех мэтров дез Эссент неосознанно для себя любил еще нескольких писателей, дорожа ими тем более, что они были презираемы ограниченной публикой.

Одним из его любимцев стал Поль Верлен, чья первая и давняя книга стихов «Сатурнические песни» казалась довольно жалкой — романтической риторикой да перепевами из Леконта де Лиля. Но уже тогда в некоторых вещах, особенно в сонете «Заветная мечта», прорывался подлинный верленовский голос.

Пытаясь разобраться, кто повлиял на Верлена в ранних стихах, дез Эссент обнаружил след Бодлера, причем со временем это влияние, несмотря на то что выражено было косвенно и не очень отчетливо, еще более обозначилось и не могло не бросаться в глаза.

Затем в позднейших книгах — «Добрая песня», «Галантные празднества», «Песни без слов» — и самой последней, «Мудрость», явился поэт самостоятельный, на голову выше прочих своих собратьев.

Рифмой ему служили сложные глагольные формы или длиннейшие наречия, которые часто следовали за односложным словом и падали с него, как водопад со скалы. Строка рассекалась неожиданной цезурой. Стих становился неясным, сумеречным. Вдобавок он был полон грамматизмов и рискованных эллипсов, правда не лишенных прелести.

Однако метрически поэт был неподражаем и смог омолодить устоявшийся стихотворный канон. Сонеты он слов-

но опрокидывал, и они, как японские керамические рыбки, стояли хвостиком кверху. Или же разрушал сонет, строя его на одной лишь мужской рифме, к которой, судя по всему, был неравнодушен. А иногда использовал совсем странную строфу – трехстишие с нерифмованным вторым стихом или монорим со строкой-рефреном, эхом вторившей самой себе, например в стихотворениях «Street» и «Станцуем жигу!». Были у него и едва слышные стихи, звук которых затухал, как удаляющийся колокольчик.

Но главная черта его индивидуальности – зыбкие и дивные откровения вполголоса, в сумерках. Только у Верлена особая, тревожная запредельность души, тихий шепоток признаний и мыслей. Этот шепоток так неясен и смутен, что его скорее угадываешь, чем слышишь, и от этой таинственности испытываешь сильнейшее душевное томление. Весь Верлен – в изумительных стихах из «Галантных празднеств»:

И в сумерках косых, двусмысленных девица
Шла под руку с тобой, у твоего плеча
Словечки до того бесстыдные шепча,
Что сердце и теперь трепещет и дивится.

Это вам не бескрайний горизонт в распахнутой настежь двери незабвенного Бодлера. Это щелка, и сквозь нее виден уютный лужок при луне, удел души поэта. Его поэтическое кредо сформулировано им в следующих, кстати любимых дез Эссентом, строках:

Всего милее полутон,
Не полный тон, но лишь полтона.

...

Все прочее – литература.

Словом, дез Эссент охотно читал Верлена и следил за выходом его не похожих друг на друга книг. Напечатав в санской газетной типографии «Песни без слов», Верлен

надолго замолк, потом зазвучал снова, с мягким вийоновским придыханием воспевая Святую Деву, «...вдали от нынешних времен, от грубого ума и грустной плоти». Эту книгу стихов, «Мудрость», дез Эссент читал и перечитывал. Она вызывала в нем мечты о чем-то запретном, о тайной любви к византийской Мадонне, а Мадонна вдруг превращалась в языческую богиню, невесть как попавшую в наш век. Виделась она зыбко, загадочно, и трудно было сказать, то ли она пробуждает греховную страсть, страшную и неодолимую, если хоть раз отдаться ей, то ли грезит о беспорочной любящей душе, о чувстве чистом и невыразимом.

Доверие дез Эссенту внушали и еще несколько поэтов. Один из них, Тристан Корбьер, выпустил в 1873 году на редкость эксцентрическую книжку стихов «Желтая любовь», встреченную публикой с полным равнодушием. Дез Эссент же из одной только ненависти к стадности и пошлости одобрил бы любое безумство, любую экстравагантность. Книжку Корбьера он читал с наслаждением, часами. Эти стихи, смешные, беспорядочные и буйные, приводили в замешательство. Многие по смыслу были совершенно невняты, например «Литания сна». Этому сну, по словам поэта,

постыдные мечты вверяют богомолки.

Да и звучало все это как-то не по-французски. Поэт писал на тарабарском языке, смеси негритянского с телеграфным, то и дело опускал глаголы, без конца зубоскалил, сыпал, как рекламный агент, плоскими шуточками, выдавал затем нелепые каламбуры, сюсюкал – и вдруг пронзительно вскрикивал от боли, и крик был подобен звуку лопнувшей виолончельной струны. Стиль Корбьера был каменист, сух, костляв. Это и колючки непроизносимых слов и неологизмов, и блеск новых созвучий, и блуж-

давшие, лишенные рифмы прекраснейшие строки. В «Парижских стихах» дез Эссент находил глубочайшее корбьеровское определение женщины:

Чем больше женщина, тем ярче лицедейка.

Кроме того, языком поразительно лаконичным и сильным воспел он море в Бретани, создал морские пейзажи, сочинил молитву святой Анне, а по поводу лагеря в Конли осыпал пылками от ненависти оскорблениями тех, кого именовал «шутами четвертого сентября».

За искусственность дез Эссент и полюбил корбьеровский стих, полный ужимок и красотей, в которых, однако, всегда было что-то сомнительное. За нее же полюбил еще одного поэта. Звали его Теодор Аннон, и был он учеником Бодлера и Готье, певцом всего изысканно-вычурного.

В отличие от Верлена, на которого повлиял, хоть и не прямо, психологизм Бодлера, его геометрическая выверенность чувства, Теодор Аннон перенял от учителя живописность стиля, пластичность видения людей и предметов.

Прелестная испорченность Аннона роковым образом совпала с пристрастиями дез Эссента, и в холодные, ненастные дни он уединялся в доме, выдуманном Анноном, и упивался мерцанием тканей и блеском камней – роскошью исключительно материальной. Эта роскошь возбуждала мозг, реяла роем шпанских мушек, теплыми волнами фимиама окутывала брюссельскую богиню с ее покрытым румянами ликом и потемневшим от жертвоприношений торсом.

Из поэтов дез Эссент любил только эту троицу да еще Стефана Малларме, которого велел слуге отложить в сторонку, намереваясь заняться им отдельно. Остальные поэты мало его привлекали.

Леконт де Лиль больше не удовлетворял дез Эссента, хотя стихи его были столь великолепны, величественны и

блистательны, что гекзаметры самого Гюго в сравнении с ними выглядели мрачными и тусклыми. Но у Флобера античность оживала, а у Леконта оставалась холодной и мертвой. Его поэзия – показная. И ни трепета в ней, ни мысли, ни жизни, одна полная ледяного блеска бесстрастная мифология. Впрочем, в прежние времена дез Эссент дорожил стихами Готье, но теперь и к ним поостыл. Художником Готье был ошеломляющим, но восхищение им у дез Эссента с годами уменьшилось. И сейчас он больше удивлялся, чем восхищался его в общем-то бесстрастной живописью: вот наблюдатель, очень зоркий, зафиксировал впечатление, но оно так и осталось на сетчатке, не проникло глубже, в мозг, в плоть; и глаз, как эмаль зеркала, четко и бесстрастно отражает окружающий мир.

Конечно, дез Эссент все еще любил Готье и Леконта, как любил редкие камни или неординарные предметы старины. Но ни тот, ни другой виртуоз уже никакой своей фантазией не приводили его в восторг, ибо эти фантазии не будили мечты, не уносили дез Эссента на своих крыльях туда, где по крайней мере время не ощущалось столь тяжело.

Эти книги уже не утоляли голод дез Эссента, как не насыщал его больше и Гюго. Мотивы Востока, образы патриархов были слишком условными и пустыми, чтобы сказать что-то уму и сердцу, а их слезливость раздражала. Дойдя до «Песен улиц и лесов» с их безукоризненным, поэтично точным владением ритмом, дез Эссент, разумеется, расшаркался перед мастером, но все эти цирковые фокусы он отдал бы за что-нибудь по-бодлеровски новое, по-бодлеровски подлинное. Нет, решительно, Бодлер – почти единственный, кто и по форме блестящ, и по смыслу содержателен и благоуханен.

Мысль дез Эссента блуждала из стороны в сторону при размышлениях о форме без содержания или о содержании

без формы, но оставалась спокойной и неизменной в своих пристрастиях. Психологические лабиринты Стендаля и аналитические изыски Дюранти нравились дез Эссенту, но их язык, казенный, тусклый, сухой, их проза внаем, годная лишь для низменных нужд сцены, претили ему. Кроме того, все эти хитросплетения ума, может, кому-то и интересные, его уже давно, по правде сказать, не занимали. Ему наскучили законодатели литературной моды, инерция общепринятых идей и вкусов. Дух в нем стал как бы тяжел на подъем, и он желал теперь лишь чувств особенных, переживаний религиозных, тончайших.

Покорить дез Эссента мог только такой писатель, у которого ироничный стиль сочетался бы со взглядом на мир вдумчивым и аналитичным. И дез Эссент нашел это сочетание у мэтра индукции – глубокого и странного Эдгара По. С тех пор как дез Эссент взялся за него, тот приносил ему неизменное наслаждение.

По как никто другой был ему близок душевно, соответствовал его созерцательному настроению.

Если Бодлер расшифровывал тайнопись мыслей и чувств, то По, как мрачный психолог, скорее изучал человеческую волю.

Он первым в рассказе с символическим названием «Демон извращенности» исследовал неодолимые и неведомые порывы воли¹. В наши дни они более или менее полно объяснены церебральной патологией. Он также впер-

¹Имеется в виду идея, выраженная в рассказах Эдгара По «Черный кот», «Демон извращенности», которую будет позднее разрабатывать Достоевский в «Записках из подполья». «Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость и глупость только потому, что, как он знает, он не должен был бы этого делать?» («Черный кот»). «Мы поступаем так, а не иначе именно потому, что рассудок не велит нам этого делать» («Демон извращенности»).

вые если не описал, то по крайней мере заговорил о парализующем влиянии страха на волю и о том, что обезболивающие средства притупляют чувствительность, а яд кураре поражает нервно-двигательную функцию. Именно к изучению летаргии воли и свелись все исследования По. Он проанализировал развитие этой нравственной хвори, указал на ее симптомы — сначала легкое беспокойство, потом сильную тревогу и, наконец, дикий страх, парализующий всякое движение воли, но, однако, не нарушающий работы мозга.

А самой смерти, о которой столь любят говорить поэты, Эдгар По в каком-то смысле придал новые очертания, наделив ее свойством алгебраическим и сверхчеловеческим. Описывал он агонию, правда, не столько физическую, сколько нравственную. Человек мог выжить, но от изнеможения и боли на своем жалком ложе начинал галлюцинировать. И жестоко, и вместе с тем завораживающе показывал писатель, как нарастает страх и разрушается воля. От его бесстрастных описаний и бредовых кошмаров у читателя леденела кровь и перехватывало дыхание.

Героев По мучили наследственные неврозы и нравственные недуги. Женские персонажи, все эти Мореллы и Лигейи, были в высшей степени образованны, разбирались в хитросплетениях немецкой философии, познали тайны древневосточной каббалистики, и все, словно ангелы, — плоскогруды и бесполы.

Бодлера и По часто уподобляли друг другу. Было у них нечто общее в стиле; оба стремились к изучению пораженного болезнью ума, но при этом решительно отличались в понимании любви. У Бодлера она полна беззакония и противоестественности; ее жестокость и нетерпимость сродни пыткам инквизиции. У Эдгара По любят целомуд-

ренно, воздушно; замирают все органы чувств, мозг пребывает в полном уединении, ничто не связывает его с телом, девственным и хладным.

В клетке ума ученый и хирург, Эдгар По занимался анатомией мозга, а когда уставал, то в его воображении, словно сомнамбулические ангелоподобные фигуры, возникали сладкие видения. Эта хирургия служила для дез Эссента неиссякаемым источником догадок и предположений. Однако в последнее время обострился его собственный невроз, и бывали дни, когда это чтение его истощало, и он сидел недвижно и настороженно, с трясущимися руками, охваченный, точно несчастный Ашер, необъяснимым оценением и ужасом.

И потому дез Эссент должен был смирять себя и пить опасный эликсир по капле. И уже не мог подолгу бывать в красной гостиной и наслаждаться одилон-редоновскими сумерками и луикеновским изображением пыток.

Однако после страшного американского зелья все остальное казалось дез Эссенту пресным. И тогда он брался за Вилье де Лиль-Адана². В некоторых его сочинениях дез Эссент находил и подлинный бунтарский дух, и мятежную мысль, но они не внушали, за исключением «Клер Лемуар», подлинного ужаса.

Новелла «Клер Лемуар» появилась в 1867 году в «Ревю де летр и дез ар» и открыла серию рассказов под общим названием «Мрачные истории». Новелла была полна темных умозаключений, заимствованных у старика Гегеля, действовали в ней странные существа – некий доктор Трибуля Бономе, и надутый, и ребячливый, и некая Клер Лемуар, смешная и зловещая, в синих очках-блюдцах, которые скрывали почти незрячие глаза.

²*Лиль-Адан, Жан Мари Вилье де (1838–1889) – французский поэт и драматург, романтик, символист.*

В новелле шла речь о рядовой супружеской измене, но кончалось все невыразимо ужасно, когда Бономе, раздвинув веки умершей Клер и запустив ей в глазницу чудовищный зонд, стал свидетелем четко запечатлевшейся картины: муж, словно какой-нибудь канак, распевает песнь войны, потрясая отрезанной головой любовника.

Рассказ вроде бы основывался на вполне справедливом утверждении, что в зрачке некоторых мертвых животных, к примеру быков, подобно негативу, до поры до времени сохраняется образ того, что они узрели в момент смерти. На самом деле новелла явно брала начало от рассказов Эдгара По с их клинической тщательностью описаний и атмосферой кошмара.

То же самое относилось и к рассказу Вилье «Провозвестник», включенному затем в «Жестокие рассказы», книгу, несомненно, талантливую. В нее же входил и рассказ «Вера», который дез Эссент считал настоящим маленьким шедевром.

Галлюцинация, описанная в нем, обладала невыразимой мягкостью. Это был уже не сумрачный мираж американца, а теплое, переливчатое, почти небесное видение. Жанр оставался неизменным, но персонажи являли собой противоположность Лигейям и Беатрисам, этим ужасным и бесплотным призракам, неумолимым кошмарам опиума!

В рассказе изучались различные состояния воли, но описывался не упадок ее, не паралич под воздействием страха. В центре всего, напротив, был порыв воли, произраставшей из силы характера и его навязчивой идеи. Воля торжествовала: она создавала вокруг себя атмосферу и навязывала свое присутствие.

Еще одна книга Лиль-Адана, «Изида», занимала дез Эссента совсем по другой причине. Правда, и здесь, как и в «Клер Ленуар», было полно философской дребедени, на-

блюдений тяжеловесных и мутных, перепевов старых мелодрам с подземельями, кинжалами, веревочными лестницами и прочими романтическими штучками. Все это старье имелось и в «Элен», и в «Моргане», его забытых вещах, которые напечатал некто Франциск Гийон, никому неведомый издатель из городка Сен-Брик.

Так или иначе, но лиль-адановская маркиза Туллия Фабриана усвоила и халдейскую ученость героинь Эдгара По, и искусство дипломатии стэндалевской Сансеврины-Таксис, сочетала загадочность Брадаманты с чертами античной Цирцеи. Такое сочетание несочетаемого искрилось и производило впечатление; в воображении автора философия и литература сталкивались, но в согласии так и не приходили, когда он писал пролегомены к сочинению, которое как минимум было рассчитано томов на семь.

Вместе с тем темперамент Вилье де Лиль-Адана со всей очевидностью обладал и другим характерным свойством: был саркастичен, до злобы насмешлив. И речь шла уже не о двусмысленности мистификаций По, но о смехе. И смехе притом весьма мрачном, как у Свифта. В таких вещах, как «Девушки Бьенфилатр», «Реклама на небесах», «Машина славы», «Лучший в мире обед!», дух зубоскальства был на редкость силен и изобретателен. Вся мерзость современных утилитарных идей, все меркантильное убожество эпохи прославлялось с иронией, от которой дез Эссент буквально сходил с ума.

Не было во всей Франции надувательства столь же яркого и сногшибательного. Пожалуй, одна только новелла Шарля Кро «Наука любви», напечатанная некогда в «Ревю дю монд нуво», еще могла удивить своим деланным безумием, чопорностью юмора, прохладно-шутливыми замечаниями, но особого удовольствия дез Эссент от нее не по-

лучал. Сработан рассказ был из рук вон плохо. Рельефный, яркий, часто самобытный стиль Лиль-Адана исчез. Возникло нечто вроде винегрета, неизвестно по какому литературному рецепту приготовленного.

— Господи, как мало на свете книг, которые можно перечитывать, — вздохнул дез Эссент и взглянул на слугу. Старик спустился с лесенки и отошел в сторону, чтобы дез Эссент окинул взглядом все полки.

Дез Эссент с одобрением кивнул. На столе оставались лишь две книжки. Знаком отослав слугу, он стал перечитывать первую из них — подшивку в переплете ослиной кожи, вначале прошедшей через лощильный пресс, а затем покрытой серебристыми акварельными пятнышками и украшенной форзацами из камчатного шелка; узоры, правда, чуть выцвели, зато сохраняли в себе ту самую прелесть старых вещей, которую воспел своими чудесными стихами Малларме.

Переплет заключал девять страниц, извлеченных из уникальных раритетов — напечатанных на пергаментной бумаге первых двух сборников «Парнаса», где были опубликованы «Стихотворения Малларме». Это заглавие вывела рука изумительного изящества. Ему соответствовал цветной унциальный шрифт, удлинённый, как в древних рукописях, золотыми точечками.

Из одиннадцати стихотворений некоторые, наподобие «Окон», «Эпилога», «Лазури», не могли не привлекать внимание, тогда как отрывок из «Иродиады» порою казался просто колдовским.

Сколь часто вечерами, в неясном свете лампы и тиши комнаты, эта новая Саломея возникала рядом, а та, прежняя, с картины Моро, отступала в полутьму и, растворяясь в ней, казалась теперь смутным изваянием, матовым пятном на камне, который утратил свой блеск!

Сумрак окутывал все: делал невидимой кровь, гасил золотые блики, затемнял дальние углы храма, тусклой краской заливал второстепенных участников преступления. И только матовое пятно света оставалось нетронутым, оно отделяло танцовщицу от ее наряда и драгоценностей и еще сильнее выставляло напоказ ее прелести.

Дез Эссент не мог оторвать от нее глаз и хранил в памяти ее незабываемые очертания. И она оживала и напоминала ему странные, мягкие стихи Малларме, ей посвященные:

Поверхность твоего, о зеркало, овала
Коростой ледяной уныние сковало.
И снова я от грез страдаю, и во льду
Воспоминание ищу и не найду.
И я в тебе – как тень, как призрак. Но порою,
О ужас! – в темноте нет-нет да и открою
Своих развеянных мечтаний наготу!

Дез Эссент любил эти стихи, как любил всю поэзию Малларме. В век всеобщего избирательного права и живы тот избрал литературу местом своего отшельничества. Презрением он отгородился от окружающей его глупости и вдали от мира наслаждался игрой ума и, оттачивая мысль, и без того удивительно острую, придавал ей византийскую утонченность и тягучесть за счет почти незримо связанных с ходом рассуждения обобщений.

И вся эта бесценная вязь мысли скреплялась языком клейким, непроницаемым, полным недомолвок, эллипсов, необычных метафор.

Малларме сопоставлял вещи, казалось, несопоставимые. По какому-то признаку он разом давал одно-единственное определение запаху, цвету, форме, содержанию, качеству как предметов, так и живых существ, для описания которых, если дать его развернуто, потребовалось бы

бесконечное множество слов. Овладев символом, он отказался от принципа сравнения, который был привычен для читателя. Малларме не стал привлекать внимание к конкретным свойствам лица или вещи, то есть отказался от цепочки прилагательных. Совсем наоборот – он сосредоточил читательское внимание на единственном слове, показывая «все», будто создавая образ единого и неделимого целого.

Поэзия становилась компактной, сжатой, концентрированной. В своих первых вещах Малларме еще редко прибегает к этому приему, но уже вовсю пользуется им в стихотворении, посвященном Теофилю Готье, в также в «Послеполуденном сне фавна» – тонкой, радостно-чувственной эклоге, которая звучит загадочно и нежно и вдруг оглашается звериным и безумным криком фавна.

Тогда я пробужусь для неги первобытной,
Прям и один, облит волною света слитной,
Лотос! и среди всех единый – простота.

Этот перенос строки, усиленный звуком «о», создает некий упругий образ белизны, который интонационно усиливается словом «простота» и аллегорически сводит вместе токи страсти и переживания фавна-девственника, который обезумел при виде наяд и жаждет обладать одной из них.

В этом удивительном стихотворении порывы страсти и ламентации сатира рождали в каждой строке неожиданные и доселе не встречавшиеся образы: на берегу водоема он предается созерцанию камышей, которые еще хранят форму тел нежившихся в них нимф.

И сам дез Эссент испытывал какое-то обманчивое наслаждение, когда поглаживал молочно-белый, из японской кожи, переплет этой крошечной подшивки с двумя шелковыми, черной и цвета чайной розы, ленточками-завязками.

Первая из них выбегала из-под обложки и спешила нагнать свою розовую подругу. Та походила на дух китайских шелков или мазок японской губной помады – любовную приманку на мраморе по-античному белой кожи обложки. Черная лента настигала розовую беглянку, сплеталась с ней, и на свет появлялся легкий черно-розовый бантик, неизъяснимо напоминавший о печали и разочаровании, которые приходят на смену угасшим восторгам и иссякшим порывам.

Дез Эссент отложил в сторону подшивку с «Фавном» и стал перелистывать другую. Ее он собрал, так сказать, для души, и под сводами этой второй подшивки вырос небольшой храм стихотворений в прозе. Он был освящен во имя Бодлера и заложен на камне его поэзии.

В антологию входили избранные отрывки из «Ночного Гаспара» Алоизия Бертрана³, кудесника, перенесшего приемы Леонардо да Винчи в прозу и написавшего металлическими окисями яркие и переливчатые, как эмаль, картинки. За «Гаспаром» дез Эссент поместил «Vox populi» Вилье, а также вещицы со следами стилистических изысков на манер Леконта де Лиля и Флобера, затем добавил несколько фрагментов из «Нефритовой книги», которая нежно благоухала женьшенем, чаем и ночной родниковой водой, вобравшей в себя лунный блеск.

Из забытых журналов дез Эссент тоже извлек кое-что и включил в свою коллекцию стихотворения «Демон аналогии», «Трубка», «Бедненький, бледный ребенок», «Прерванный спектакль», «Грядущий феномен» и, самое главное, «Осеннюю жалобу» и «Зимнюю дрожь», эти подлин-

³Бертран, Луи (1807–1841), называвший себя Алоизием, – французский поэт, автор единственной книги «Ночной Гаспар», вышедшей в 1842 г.; под ее влиянием были созданы стихотворения в прозе Бодлера, Малларме, Верлена, Рембо, Пера Луиса, Реми де Гурмона, Макса Жакоба и др.

ные шедевры Малларме и лучшие из его стихотворений в прозе. Тождество языка, мысли и чувства было поразительным: мерная речь убаюкивала, как дивная мелодия или грустное заклинание, идея сообщалась силой внушения, а резкие нервные токи пронизывали вас до восторга, до боли.

Стихотворение в прозе было любимым жанром дез Эссента. У гениального мастера оно, как считал дез Эссент, становится как бы романом, то есть наделено размахом большой книги, но лишено аналитических и описательных длиннот. Дез Эссент очень часто представлял себе роман в нескольких фразах – выжимку из сотен страниц с их изображением среды, характерами, картинами нравов и зарисовкой мельчайших фактов. Это будут слова, столь тщательно отобранные и емкие, что восполняют отсутствие всех прочих. Прилагательное станет таким прозрачным и точным, что намертво прирастет к существительному и откроет читателю необозримую перспективу; оно позволит неделями мечтать и гадать над его смыслом – и узким, и широким, и душу персонажей выявит целиком: очертит в настоящем, восстановит в прошлом, провидит в будущем. И все это благодаря одному-единственному определению.

Роман в одну-две страницы делает возможным сотворчество мастерски владеющего пером писателя и идеального читателя, духовно сблизит тех немногих существ высшего порядка, что рассеяны во вселенной, и доставит этим избранныкам особое, им одним доступное наслаждение.

Нет нужды говорить, стихотворение в прозе было для дез Эссента квинтэссенцией и сутью писательства, его эликсиром.

Им овладел Бодлер, но он давал о себе знать и здесь, у Малларме, и это приводило дез Эссента в упоение.

Когда он закрыл вторую подшивку, то понял, что новых книг в его библиотеке, судя по всему, больше не появится.

С этим ничего нельзя было сделать, словесность находилась в упадке. Неизлечимо больная, она зачихала от ветхости идей и излишеств стиля, как всякий больной, возбуждаясь на время только от занятых безделок. Однако еще при жизни она спешила наверстать упущенное, насладиться впрок и выразить невыразимое, чтобы перед отходом в мир иной оставить в наследство вязь воспоминаний о своей болезни. Сильнее, ярче всего этот упадок дал о себе знать именно в поэзии Малларме.

Его стих как бы суммировал написанное Бодлером и По. Он черпал свои силы из тонкого и сильного вина их творчества, но благоухал и пьянил по-новому.

В нем умирал старый язык, который с незапамятных времен от века к веку терял силу и разлагался, пока наконец не приказал долго жить, как это произошло с латынью в темных по смыслу конструкциях св. Бонифация и Адельма.

Впрочем, все иначе: французский язык распался внезапно. Латынь умирала долго: от прекрасных и пестрых глаголов Клавдиана и Рут依лия до искусственных в VIII веке прошло четыре столетия – долгий срок. Но никаких столетий и рубежей в умирании французского. Пестрый и прекрасный стиль Гонкуров и искусственный слог Верлена с Малларме столкнулись, став соседями по времени, веку, эпохе.

Взглянув на оба ин-фолио, лежавших на столике-аналоге, дез Эссент улыбнулся и подумал, что придет день, когда какой-нибудь эрудит составит об упадке французского языка многотомный труд по примеру премудрого Дю Канжа, который стал летописцем последних вздохов, бессвязного бормотания и агонии латыни, умиравшей от старости в монастырской келье.

ГЛАВА XV

Увлечение дез Эссента питательным отваром вспыхнуло, как щепка, и, как щепка, погасло. Пропавшая было нервная диспепсия возобновилась, и от мясного пошла у него началась такая изжога, что он совсем от него отказался.

Болезнь снова вступила в свои права. Пришел черед новых пыток. Прежде были кошмары, расстройство зрения и обоняния, сухой, размеренный, как часы, кашель, шум крови, сердцебиение и холодная испарина. Теперь начались слуховые галлюцинации — именно то, что заявляет о себе, когда болезнь достигла апогея.

Мучаясь от сильного жара, дез Эссент вдруг услышал, как журчит вода и жужжит оса, а потом журчанье и жужжанье слились в один звук, напоминавший скрип колеса. Затем скрип смягчился, приобрел мелодичность и перешел понемногу в серебристый колокольный звон.

И дез Эссенту почудилось, что его разгоряченный мозг несется по музыкальным волнам, кружится в вихре мистических воспоминаний детства. Вновь зазвучали гимны, выученные некогда в иезуитской школе, и, навеяв былое, они вызвали в памяти часовню, в которой пелись. Видение приобрело запах и цвет, став дымком ладана и лучами света, пробивавшимися сквозь витражи стрельчатых окон.

У отцов иезуитов богослужения проходили торжественно. Органист и певчие были очень хороши, поэтому

музыкальное сопровождение службы приносило подлинное эстетическое наслаждение, и это было выгодно церкви. Органист обожал старых мастеров и по праздникам непременно исполнял мессы Палестрины и Орландо Лассо¹, псалмы Марчелло², оратории Генделя, мотеты Баха. Зато отец Ламбийот³ со своими вялыми и несложными композициями был у него не в чести, и он гораздо охотнее играл «Laudi spirituali»⁴ XVI века – церковная красота этих песнопений снова и снова пленяла дез Эссента.

Но он приходил в еще большее восхищение, слушая церковный хор, непременно – что противоречило новым порядкам – в сопровождении органа.

В наши дни церковное пение считается пережитком, достопримечательностью прошлого и музейным экспонатом, хотя когда-то было солью христианского богослужения, душой Средневековья. Каноны пелись, и голос поющего, то сильный, то слабый, славил и славил Всевышнего.

Это испокон веков звучавшее пение, мощное в своем порыве и пышное по гармонии, словно краеугольный камень, было неотъемлемой частью старой базилики. Оно переполняло своды романских соборов, казалось их порождением и гласом.

Несколько раз дез Эссент был прямо-таки потрясен необоримым духом григорианского хора, когда в нефе звуча-

¹Лассо, Орландо (1532–1594) – франко-фламандский композитор, один из величайших мастеров полифонии строгого стиля XVI в., завершивший развитие полифонической нидерландской школы. Писал мессы, мотеты, псалмы и мадригалы.

²Марчелло, Бенедетто (1686–1739) – знаменитый итальянский композитор, положил на музыку 50 псалмов Давида.

³Отец Ламбийот, Луис (1796–1855) – французский органист, капельмейстер и композитор. Написал 4 мессы, 6 ораторий, пьесы для хора.

⁴Laudi spirituali (лат.) – духовные прославления.

ло «Christus factus est»⁵ и в клубах ладана дрожали столбы; или когда органными басами гудело «De profundis»⁶, мучительное, как глухое рыдание, пронзительное, как крик о помощи. Казалось, это человечество оплакивает свою смертную долю и взывает к бесконечной милости Спасителя!

В сравнении с этими дивными звуками, порожденными церковным гением, столь же безвестным, как и создатель органа, вся остальная духовная музыка казалась дез Эссенту светской, мирской. В сущности, ни Жомелли⁷, ни Порпора⁸, ни Кариссими⁹, ни Дюранте¹⁰ и, даже в самых замечательных своих вещах, ни Бах, ни Гендель не в силах были отказаться от успеха у публики и отречься, жертвуя красотами своей музыки, от гордости творца ради полной смирения молитвы. Только в величественных мессах Лесюэра¹¹, исполнявшихся в Сен-Рошском соборе, церковный стиль был серьезен, царствен и прост и потому приближался к суровому величию старого пения.

И, давно уже, возмущенный вмешательством, – будь то приписки к «Stabat», сделанные Россини или Перголези, – современного искусства в церковное, дез Эссент как чумы бежал духовной музыки, которая благосклонно принималась церковью.

⁵«Christus factus est» (лат.) – «Христос воплотился», рождественское песнопение.

⁶«De profundis» (лат.) – «Из глубины воззав», начало 129-го псалма.

⁷Жомелли, Николо (1714–1774) – итальянский оперный композитор, капельмейстер собора Св. Петра в Риме.

⁸Порпора, Никола (1686–1768) – итальянский композитор, капельмейстер. Директор итальянской оперы в Лондоне.

⁹Кариссими, Джакомо (1605–1674) – итальянский композитор. Развил жанр оратории.

¹⁰Дюранте, Франческо (1684–1735) – итальянский композитор. Писал мессы, гимны, мотеты, псалмы.

¹¹Лесюэр, Жан Франсуа (1760–1837) – французский композитор. Писал светскую музыку.

К тому же подобные опусы, одобренные якобы не ради денег, а для привлечения паствы, стали уподобляться итальянской опере и выродились в гнусные каватины и непотребные кадрили. Церковь превратилась в будуар или, скорее, в театральный балаган: вверху надрывали горло профессиональные актеры, а внизу дамы демонстрировали свои туалеты и млели от певунов-филантропов, нечестивые завывания которых оскверняли священный орган!

Дез Эссент много лет избегал этих богомольных угощений и питался одними лишь детскими воспоминаниями. Он пожалел даже, что несколько раз слушал «Te Deum»¹² великих композиторов. Ведь он помнил восхитительный «Te Deum» в хоровом исполнении и не мог забыть этот гимн, полный простоты и величия. Сочинил его, должно быть, безвестный святой монах, один из многочисленных Амвросиев¹³ или Илларионов¹⁴. Нынешней сложной оркестровой техники и музыкальной механики там не было, зато была пламенная вера и ничем не сдерживаемый порыв души. Казалось, звуки этой проникновенной, благочестивой и воистину небесной музыки возвещают о ликованиях веры всего человечества!

В целом же отношение дез Эссента к музыке противоречило его отношению к прочим искусствам. Что касается духовных сочинений, то он любил лишь средневековую монастырскую музыку. Аскетически закаленная, она невольно действовала на его нервы так же, как страницы некоторых древних латинских книг. И потом, — в чем он признавался себе — ухищрения современных духовных компози-

¹² «Te Deum laudamus» (лат.) — «Тебя, Бога, славим!» — начальные слова древнего латинского церковного гимна.

¹³ Св. Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) — святой епископ Миланский, один из наиболее известных христианских проповедников

¹⁴ Св. Илларион — христианский аскет IV в.

торов были недоступны его пониманию. Во-первых, не испытывал он к музыке той страсти, с какой погружался в литературу и живопись. На пианино он едва играл, ноты разбирал с грехом пополам – и все это после нескончаемых гамм в детстве. Не имел он понятия и о гармонии, а также не знал техники в той мере, чтобы, уловив оттенки и нюансы смысла, со знанием дела оценить новизну исполнения.

И, во-вторых, концерт – всегда балаган. С музыкой не побудешь дома, в одиночестве, как с книгой. Чтобы насладиться ею, надо смешаться с толпой, битком набившей театр или зимний цирк, где, словно на операционном столе, под косыми лучами света какой-то здоровяк на радость глупой публике режет воздух бемолями и калечит Вагнера.

У дез Эссента не хватило решимости отправиться туда, даже чтобы послушать Берлиоза, хотя тот и восхищал его порывистостью отдельных своих вещей. Прекрасно сознавал дез Эссент и то, что ни сцены, ни фразы из волшебного Вагнера нельзя безнаказанно отделять от целого его оперы¹⁵.

Куски музыки тогда, когда они были отдельно приготовлены и поданы на блюде концерта, теряли значение и обесмысливались. Ведь вагнеровские мотивы – как главы книги. Они дополняют друг друга, все вместе ведут к общей цели, рисуют характеры персонажей, передают их мысли, объясняют тайные или явные побуждения. Кроме того, причудливый рисунок лейтмотивов доступен слушателю в том случае, если он знает сюжет, помнит, как складывались и развивались образы героев и окружающей их среды, вне которой они зачахнут, ибо связаны с ней, как ветка с деревом.

¹⁵Речь идет о непрерывном сквозном музыкальном действии и сюжетной обусловленности музыки. Музыкальные фразы у Вагнера не заканчиваются с окончанием арии или хора, а продолжают в следующих номерах.

Помимо прочего, дез Эссент был убежден, что среди бесчисленных меломанов, по воскресеньям умиравших от восторга в зрительном зале, от силы два десятка человек знали партитуру и в тот момент, когда смолкали голоса билетерш и можно было расслышать оркестр, ощущали, насколько она изуродована.

Правда, французские театры из мудрого патриотизма и не ставили великого немца целиком. Стало быть, для тех, кто оказался не посвященным во все музыкальные тайны и не захотел или не смог отправиться на Вагнера в Байрейт, самый лучший выбор был – сидеть дома. Что дез Эссент и выбрал.

Музыка же старых опер, общедоступная и легкая, его вообще не трогала. Пошлые перепевы Обера, Буальдьё, Адана, Флотова¹⁶, расхожие номера всех прочих Амбруазов Тома и Базенов¹⁷ ему претили. Итальянское старье с его слащавостью и плебейской прелестью он также терпеть не мог. В результате дез Эссент совсем отошел от музыки и за долгие годы своего музыкального воздержания с удовольствием вспоминал лишь немногие концерты камерной музыки, где слушал Бетховена и в особенности Шумана и Шуберта. Сочинения и того, и другого действовали на его нервы так же, как самые глубокие, самые тревожащие душу стихотворения Эдгара По.

От некоторых виолончельных вещей Шумана он буквально задыхался – так бушевала в них истерия. Но песни Шуберта взволновали его еще сильнее. Он весь так и взорвался и тут же обессилел, словно после нервного приступа, после тайной душевной оргии.

¹⁶Флотов, Фридрих (1812–1883) – немецкий композитор. Писал оперы, наиболее известна «Марта» (1847).

¹⁷Базен, Франсуа (1816–1878) – французский композитор, профессор Парижской консерватории, писал комические оперы.

Эта музыка пробирала его до мозга костей, оживляла забытые боль и тоску, и сердце дивилось стольким своим смутным терзаниям и страданиям. Она шла из самых глубин духа и своей скорбью ужасала и пленяла дез Эссента. У него всегда нервно увлажнялись глаза, когда он повторял «Жалобы девушки», потому что было в этой вещи нечто большее, чем отчаяние и стон, было нечто, что перерачивало душу и напоминало об умирании любви в рамке грустного пейзажа.

И когда он вспоминал очарование этой скорбной песни, то ему представлялась окраина города, место невзрачное и тихое, и там, в мягких сумерках, таяли фигуры изнуренных жизнью и смотрящих себе под ноги прохожих, а он сам, полный горькой тоски и совершенно одинокий в этом плачущем пространстве, был сражен жестокой печалью, невыразимой, загадочной, исключавшей всякое утешение и покой. Песнь скорби, как отходная молитва, раздавалась над ним и сейчас, когда он, лежа в горячке, был объят сильнейшей тревогой. Ее причин он не знал и справиться с ней не мог. И в конце концов оставил сопротивление. Мрачный вихрь музыки мчал и мчал его, а когда на миг ослабевал, то в мозгу вдруг раздавалось медленное и низкое чтение псалмов, и в воспаленных висках словно бился язык колокола.

Но вот однажды утром шум окончательно прекратился. Дез Эссент смог справиться с силами и попросил у слуги зеркало. Однако тотчас и уронил его. Он еле себя узнал: землистое лицо, пересохшие и потрескавшиеся губы, нездорового цвета язык, пятна на коже; кроме того, поскольку за время болезни старик слуга не стриг и не брил его, он сильно оброс, и на щеках проступила щетина; глаза неестественно большие, влажные, с лихорадочным блеском — словом, на него смотрел косматый скелет.

Эта перемена ужаснула дез Эссента еще больше, чем слабость, чем безразличие ко всему и неудержимая рвота при малейшем намеке на пищу. Он решил, что это конец. И упал без сил на подушки, но вдруг, как случается с человеком в безвыходном положении, вскочил с постели, сочинил письмо своему парижскому врачу и велел слуге немедленно отправиться за ним и привезти его непременно, сегодня же.

Вмиг отчаяние сменилось надеждой. Врач был известным специалистом, признанным авторитетом в лечении нервных заболеваний.

— Ведь он вылечил больных куда более безнадежных, — бормотал дез Эссент, — и я непременно через несколько дней встану на ноги.

Потом надежда снова погасла, и вернулось отчаяние. За все эти доктора берутся, а про неврозы все равно ничего не знают. Вот и этот туда же: пропишет ему, как всегда, окись цинка, хинин, бромистый калий и валерьяну. «Хотя, как знать, — подумал дез Эссент, вспомнив о лекарствах, — может, они не помогали мне потому, что я пил их не в тех дозах?»

И все-таки надежда позволяла ему держаться дальше. Однако возникла новая тревога: в Париже ли доктор, приедет ли? И от страха, что слуга не застанет врача, дез Эссент похолодел. И опять пал духом. И так поминутно переходил он из одной крайности в другую. То безумно надеялся, то вконец отчаивался. То думал, что в одно мгновение выздоровеет, то уверял себя, что сию секунду умрет. Время шло. Измучившись и обессилив, он наконец решил, что врач не приедет, и в последний раз повторил себе, что, конечно, явись эскулап вовремя, он был бы спасен.

Потом злость на слугу и на врача, по милости которого он, ясное дело, умирает, улеглась. Теперь дез Эссент ра-

озлился на самого себя. И твердил, что сам виноват, что нечего было тянуть с лечением и что спохватись он днем раньше и прими лекарства, то уже бы выздоровел.

Понемногу приступы отчаяния и надежды прошли. Дез Эссент изнемог окончательно и впал в забытие. Было оно бессвязное, сменялось то сном, то обмороком. В результате он перестал понимать, чего хочет, чего боится, ко всему потерял интерес и не удивился и не обрадовался, когда в комнату вдруг вошел врач.

Видимо, слуга рассказал ему о том, как в последнее время жил дез Эссент, и перечислил признаки болезни, какие сам наблюдал с тех пор, как подобрал его, потерявшего сознание от запахов, у окна. Так что врач почти ни о чем и не спросил дез Эссента, которого, кстати, и без того давно знал. Но осмотрел его внимательно, послушал, поглядел мочу и по какой-то беловатой в ней взвеси определил главную причину невроза. Затем выписал рецепт, объявил, когда прибудет в следующий раз, и, ни слова не добавив, ушел.

Этот визит подбодрил дез Эссента, а вот молчание врача все же беспокоило. Он умолял старика слугу не скрывать правды. Слуга заверил его, что доктор не нашел ничего страшного. И дез Эссент, как ни всматривался в спокойное лицо старика, не нашел на нем и тени лжи.

Тогда он успокоился. Кстати, и боли прекратились, и слабость во всем теле как-то смягчилась, перешла в истому, тихую и неопределенную. Он удивился и обрадовался, что не надо возиться с пузырьками и склянками. Даже слабая улыбка заиграла на его бескровных губах, когда старик принес ему питательную пептоновую клизму и сказал, что ставить ее надо три раза в день.

Клизма подействовала. И дез Эссент мысленно благословил эту процедуру, в некотором роде венец той жизни,

которую он сам себе устроил. Его жажда искусственности была теперь, даже помимо его воли, удовлетворена самым полным образом. Полней некуда. Искусственное питание – предел искусственности!

«Вот красота была бы, – думал он, – если питаться так и в здоровом состоянии! Время сэкономишь и, когда нет аппетита, к мясу никакого отвращения не почувствуешь! И мучиться, изобретая новые блюда, не будешь, когда тебе позволено так мало! Какое мощное средство от чревоугодия! И какой вызов старушке природе! А не то она со своими одними и теми же естественными потребностями совсем бы угасла!»

Дез Эссент продолжал свои рассуждения. Можно, скажем, намеренно нагулять аппетит, проголодаться и тогда произнести закономерные слова: «Сколько времени? Помоему, пора за стол, у меня живот свело от голода». И в мгновение ока стол накрыт, то есть лежит на скатерти сей главный прибор, и не успеешь прочесть молитвы перед едой, как с обеденной волокитой покончено!

Несколько дней спустя слуга принес раствор, и цветом, и запахом отличавшийся от пептонового.

– Так это же что-то совсем другое! – воскликнул дез Эссент, взволнованно глядя, как наполняется клизма. Словно меню в ресторане, он потребовал рецепт и, развернув бумажку, прочитал:

рыбий жир	20 граммов
говяжий бульон	200 граммов
бургундское	200 граммов
яичный желток	1 шт.

Дез Эссент задумался. Никогда прежде из-за большого желудка он не интересовался кулинарным искусством. И вот теперь, став своего рода лакомкой наоборот, он начал кое-что изобретать. В голову ему пришла совершенно неле-

пая мысль. Быть может, врач решил, что, так сказать, искусственное небо пациента привыкло к пептону? А может, как искусный повар, врач вознамерился переменить вкус пищи, чтобы однообразие блюд не привело к окончательной утрате аппетита? И, взявшись за размышления на кулинарные темы, дез Эссент стал изобретать новые рецепты, составил постный рацион на пятницу, усилив в нем долю рыбьего жира и вина, но сведя на нет скоромное – не разрешенный церковью по пятницам говяжий бульон. Правда, весьма скоро сочинение всех этих меню стало излишним. Приступы рвоты благодаря лечению прекратились, и врач предписал ему принимать – теперь уже обычным образом – пуншевый сироп с мясным порошком. Слабый вкус какао был как нельзя приятен естественному небу дез Эссента.

Прошла не одна неделя, прежде чем желудок заработал. Приступы тошноты иногда возвращались, но от имбирного пива и противорвотной микстуры Ривьера проходили.

Здоровье понемногу восстанавливалось. Благодаря пепсину дез Эссент уже мог переваривать натуральное мясо. Он окреп и был в состоянии встать на ноги и пройти по комнате, опираясь на палку и держась за мебель. Но вместо того, чтобы обрадоваться, он, забыв о перенесенных муках, разозлился, что выздоравливает так долго, и стал упрекать врача за медлительность. Лечение и в самом деле замедлилось из-за различных бесполезных мер. Ни хина, ни даже смягченное опийной настойкой железо не помогали. Две недели усилий, как в нетерпении констатировал дез Эссент, пошли насмарку. Пришлось принимать мышьяковую соль.

Наконец настало время, когда он смог держаться на ногах до вечера и ходить по комнате без палки. И тут его стал раздражать собственный кабинет. Изъяны, которые он раньше в силу привычки не замечал, бросились в глаза,

едва он, после долгого отсутствия, вошел в кабинет. Оказалось, что цвета, подобранные им для искусственного освещения, при дневном свете совершенно друг с другом не сочетались. Дез Эссент решил переменить их и снова часами ломал голову над необычными сочетаниями оттенков, гибридами тканей и кож.

– Ну, дело явно идет на поправку! – заключил он, осознав, что вернулся к прежним излюбленным занятиям.

Однажды утром, когда дез Эссент, разглядывая свои оранжево-синие стены, рассуждал, как хорошо, должно быть, смотрятся обои в стиле византийской епитрахили, и мечтал о парче русских стихарей и узорах церковнославянских мантий, выложенных уральскими самоцветами и жемчужными нитями, вдруг вошел врач и, проследив за взглядом дез Эссента, осведомился о самочувствии.

Дез Эссент поведал ему о своих мечтах, но едва заговорил о новых экспериментах над цветом и принципах его сочетания, как врач словно окатил его ледяным душем: объявил дез Эссенту, что если тот и осуществит свои замыслы, то, во всяком случае, не в этом доме.

И, не дав дез Эссенту опомниться, сообщил, что сделал пока только самое неотложное – привел в порядок пищеварение, а теперь пора сделать то же самое с по-прежнему дающим о себе знать неврозом, лечение которого требует годы особого ухода. Причем, добавил он, прежде чем вообще взяться за какое бы то ни было лечение, гидротерапию, к примеру, – кстати, невозможную в Фонтенее, – необходимо оставить уединение, вернуться в Париж, влиться в общую жизнь и помимо прочего развлекаться, как все люди.

– Но мне неинтересны их развлечения! – в негодовании воскликнул дез Эссент.

Врач не стал с ним спорить, а лишь произнес, что перемена образа жизни, по его мнению, – это вопрос жизни и

смерти, что, если дез Эссент не подчинится, его ожидает умопомешательство и в придачу легочное заболевание.

– Значит, это вопрос смерти или каторги! – воскликнул в отчаянии дез Эссент.

Врач, полный типично светских предрассудков, улыбнулся и, ничего не ответив, вышел.

ГЛАВА XVI

Дез Эссент закрылся в спальне и сжал голову руками, чтобы не слышать, как слуги заколачивают ящики. Каждый удар молотка отдавался в сердце, причинял невыносимые страдания, словно гвозди вонзались в него самого. Предписание врача выполнялось. Страх, что болезнь вернется, что начнется мучительная агония, пересилил ненависть к нормальной жизни, которую прописал ему врач.

Есть же на свете люди, думал дез Эссент, живущие в уединении, ни с кем не разговаривающие, целиком ушедшие в себя. Например, отшельники или монахи-затворники. Живут себе, и ничего, с ума не сходят, чахоткой не болеют. Он эти доводы и врачу приводил, и все напрасно. Доктор сухо и категорически повторил, что и на его собственный взгляд, и на взгляд всех невропатологов, только радости, развлечения и удовольствия способны побороть болезнь, ибо ее духовная сторона неподвластна химическому воздействию лекарств. И в результате, устав спорить с дез Эссентом, сказал, что вообще отказывается от лечения, если тот не будет следовать требованиям гигиены и не переменит образ жизни.

Дез Эссент помчался в Париж, посетил других врачей и, ничего не скрывая, рассказал им обо всем. И все как один подтвердили вердикт своего коллеги. Тогда дез

Эссент снял квартиру в новом доме, вернулся в Фонтеней и, побледнев от негодования, велел слугам паковать вещи.

Теперь, сидя в кресле, он размышлял обо всей этой суете, нарушившей планы, расстроившей нынешние дела и виды на будущее. Значит, прощай, блаженство! Прочь из тихой гавани, в людское ненастье, среди которого однажды он уже потерпел кораблекрушение!

Врачи в один голос твердили: развлечения, веселье! А с кем, спрашивается, развлекаться? Как веселиться?

Он же сам со всеми прервал отношения, не встретив никого, кто, подобно ему, мог бы сосредоточиться на самом себе, погрузиться в мечты; никого, кто оценил бы тонкость и изящество фразы, мысли, оттенка; никого, кто понял бы Малларме и Верлена!

Как и где и на какой земле искать эту родственную душу, этот дух отрицания, которому молчание – благо и которому не в тягость людская подозрительность и неблагодарность?

Искать ли его в мире, где он жил раньше, до отъезда в Фонтеней? Но все знакомые ему дворянчики уже давно вели косное существование завсегдааев гостиных, тупых картежников, выдохшихся любовников. Почти все, конечно, сейчас женились. Вступая в брак, они ставили точку на распутстве, но их силы уже были истощены. И только простые семьи, где еще бродили нерастраченные соки жизни, не были поражены распадом!

«Ну и фокусы в этом обществе! Устой, называется! Сплошное ханжество!» – говорил себе дез Эссент.

Аристократия вырождалась и гибла. Знать была занята либо пустяками, либо мерзостями. Она угасала в слабоумных потомках. Ее последние поколения совсем деградировали и походили инстинктами на гориллу, а мозгами на конюха или же, как, например, Шуазель-Праслены, По-

линьяки и Шеврезы, непрерывно сутяжничали и в судейской грязи дали себя сравнять с чернью.

Куда-то исчезли даже дворянские гербы и вся родовая геральдика, пышные знаки отличия древней касты. Земли уже не приносили дохода и вместе с замками шли с молотка. На лечение бесславных потомков славных родов от венерической гнили требовалась звонкая монета!

Те же из дворян, кто был энергичней и проще, отбрасывали стыд, пускались во все тяжкие и, занимаясь различными темными делишками, получали очередной тюремный срок, в чем, как дрянные мошенники, отчасти помогали прозреть не всегда зрячей Фемиде, ибо назначались в казенных домах библиотекарями.

Страстью к наживе, золотой лихорадкой заразилось от дворянства и вечно близкое к нему духовенство. На четвертых страницах газет появились объявления: «Священник удалит мозоли на ногах». Монастыри превратились в аптечно-микстурный цех. Там можно было купить и рецепты, и готовое питье. Братство цистерцианцев производило шоколад, траппистин, семулин и настойку арники. Братья-маристы продавали бифосфат медицинской извести и аркебузную воду. Доминиканцы придумали антиапплексический эликсир. Последователи святого Бенедикта делали бенедиктин, а святого Бруно — шартрез.

Чем только не торговали священнослужители. В храмах на аналоях вместо требников лежали амбарные книги. Алчность эпохи, как проказа, поразила всю церковь. Монахи корпели над счетами и квитанциями; отцы настоятели перегоняли и варили, а послушники разливали и паковали.

И все же лишь в церковной среде дез Эссент находил для себя общение, мог провести сносный и приятный вечер в компании, как правило, образованных каноников.

Однако это предполагало единство мысли с ними, тогда как в нем возникали то окрашенные в воспоминания детства порывы самой пылкой веры, то образы самые скептические.

Дез Эссенту хотелось бы верить не рассуждая, и он в иные минуты так и верил. Однако в Дезэссентовом католичестве было нечто, как в эпоху Генриха III, магическое и нечто, в духе конца прошлого века, садистское. Другими словами, особое Дезэссентово христианство приближалось к мистике, исполненной всех причуд аристократической ереси. Говорить об этом с человеком церковным нечего было и думать. Тот или не понял бы его, или с ужасом отверг.

Дез Эссент сотни раз размышлял об этом. Он жаждал покончить с фонтенейскими сомнениями. Он вступал в новую жизнь и, желая заставить себя поверить, хотел утвердиться в вере, намертво пригвоздить ее к сердцу и защитить от восстающих на нее помыслов. Но, чем горячее желал он этого, тем сильнее испытывал голод веры и тем дольше медлил явиться ему Христос. Более того, чем острее он жаждал веры, чем явственней видел в ней Божью милость к себе и обещание еще далекой, но уже чаемой жизни будущего века, тем больше распаялся ум, и мысли метались в поисках выхода, подавляя нестойкую волю. И вот уже здравый смысл и математический расчет брали верх над чудом и заповедью!

«Хватит спорить с самим собой! – через силу решил дез Эссент. – Надо просто закрыть на все глаза, отдаться течению и позабыть об этих чертовых сомнениях, которые за два века раскололи здание церкви снизу доверху.

А вообще-то, – вздохнул он, – губители католичества – не физиологи и маловеры, а сами священники. Их нелепые сочинения разрушат и самую крепкую веру».

Нашелся же монах-доминиканец, доктор богословия преподобный Руар де Кар, будто бы доказавший в своей книге «О недействительности святых даров», что почти все мессы ни к чему не приводят, ибо при богослужении используются негодные для этого вещества.

Уже много лет назад торговцы подменили елей куриным или гусиным жиром, воск – каленой костью, ладан – пошлой камедью или бензойной смолой. Но хуже всего то, что самое необходимое при совершении литургии, те самые два вещества, без которых вообще невозможно причастие, – даже их подвергли поруганию! Вино все больше разбавляли, совершенно недолжно добавляя в него ягодную наливку, настойку бузины, спирт, квасцы, салицилат и свинцовый глет. А хлеб, хлеб евхаристии, для которого требуется чистая пшеница, выпекали из бобовой муки, золы и поташа! В последнее время дело зашло еще дальше! От злаков вообще отказались. Наглецы фабриканты стали изготавливать облатки из картофельного крахмала!

В крахмал Бог сходить не захотел. Что посеешь, то и пожнешь. Во втором томе своих трудов по нравственному богословию его преосвященство кардинал Гуссе рассматривал проблему этой подмены с общецерковной точки зрения. Не подлежащий сомнению авторитет кардинала свидетельствовал, что причащать хлебом из толокна, ячменя или гречневой крупы воспрещается. Ржаной хлеб и тот сомнителен. А уж о крахмале даже и речь не идет! Крахмал, как утверждает церковный закон, «не есть материя евхаристическая».

Но это не помешало употреблению крахмала. Поддельный хлеб небесный вовсю использовался, ибо вид имел привлекательный. В итоге таинство пресуществления не совершалось. И причащали, и причащались, сами того не ведая, ничем.

Сколь далеки те времена, когда Радегунда, королева Франции, сама пекла просфоры, а три священника или три дьякона в омофорах и стихарях, согласно клюнийскому уставу, омыв лицо и персты, очищали пшеницу от плевел, затем мололи зерно, месили тесто в чистой холодной воде и, распевая псалмы, пекли его на жарком огне!

«Что скажешь, – вздохнул дез Эссент, – нынешнему надувательству, даже освященному церковью, не укрепить веры, и без того шаткой. Да и как уверовать, если Всесильного пересилили щепотка крахмала и капля спирта?»

От этих мыслей будущее стало казаться дез Эссенту совсем мрачным, беспросветным, безнадежным.

Куда направиться? Решительно некуда! И к чему ему Париж, где у него ни родных, ни друзей? Ничто не связывало его и с шамкавшим от старости Сен-Жерменским предместьем, распавшимся на части, превратившимся в попираемую миром пригоршню праха! А что общего между ним, дез Эссентом, и этим новоявленным классом, буржуазией, которая разбогатела, поднялась на ноги и всеми правдами и неправдами занялась самоутверждением?

Ушла родовая знать, явилась денежная. У власти теперь халифы прилавка, деспоты с улицы Сантье, тирания торгашей, узколобых и тщеславных.

Более отталкивающая и гадкая, чем обнищавшее дворянство или опустившееся духовенство, буржуазия позаимствовала у них помимо прочего пустую спесь и дряхлую говорливость, которые усугубила еще и неумением жить. Их недостатки она переняла и, прикрыв лицемерием, превратила в пороки. Властная, лживая, подлая, трусливая, она безжалостно расправлялась с вечной простой душой, необходимым ей для своих нужд народом,

который сама же, развратив, натравила на прежних власть имущих!

Теперь уже очевидно: чернь она использовала, выжав из нее на всякий случай все соки. Буржуа утвердился, стал хозяином жизни и ликовал, ибо деньги всеильны, а глупость – заразительна. С его воцарением ум и образованность оказались не в чести; порядочность и честность были осмеяны, творческий дар убит, а творцы низко пали и ради подачи ретиво лебезили перед торговыми царьками и сатрапами!

Живопись увязла в потоке абракадабры. Литература потеряла лицо и достоинство: еще бы, ей приходилось изображать честным мошенника-делягу, благородным – негодя, который искал сыну невесту с приданым, а дочери приданое дать отказывался; пришлось приписывать целомудренную любовь вольтерьянцу, который вопил, что священники погрязли в сладострастии, а сам тайком блуждал по темным комнатам, принюхиваясь, поскольку не был знатоком дела, к мыльной воде в умывальниках и едкому запаху грязных нижних юбок!

Великая американская каторга переместилась в Европу. Конца и края не стало хамству банкиров и парвеню. Оно сияло, как солнце, и город простирался ниц, поклонялся ему и распевал непотребные псалмы у поганых алтарей банков!

– Эх, сгинь же ты, общество, в тартарары! Умри, старый мир! – вскричал дез Эссент, возмущенный картиной, которую сам себе нарисовал. И от этого крика Дезэссентов кошмар рассеялся.

– Боже, – вздохнул дез Эссент. – А ведь это не сон! И придется мне жить в мерзкой суете века!

В утешение он прокручивал в памяти афоризмы Шопенгауэра или повторял горькое изречение Паскаля:

«Мыслящий, взирая на мир, не может не страдать». Но, как пустые звуки, раздавались в мозгу слова. Тоска дробила их, лишала смысла, и они теряли свою упругую, внушающую доверие нежную силу.

В конце концов дез Эссент осознал, что от пессимистических рассуждений легче ему не станет и что вера в грядущее, какой бы невозможной она ему ни казалась, только и дает успокоение.

Но тут приступ бешеной злобы охватил дез Эссента, ураганом смел все попытки смирения и всепрятия. И он признался себе: ничего, ничего не осталось в мире, рухнуло все! Как в кламарском храме, буржуа преклоняют колена и принимают лжепричастие на великих руинах церкви, которая стала домом свиданий, пристанищем мерзости и всяких отвратительных шепотков. Неужели ради суда веры карающий Господь Саваоф и смиренный Распятый на Голгофе не сожгут этот мир в огне, не прольют серный дождь, который некогда излился на нечестивые города и веси? Неужели эти потоки нечистот зальют, захлестнут старый мир? И неужели будет произрастать и давать плоды лишь древо беззакония и позора?

Дверь внезапно распахнулась. На пороге в дверном проеме показались люди с фонариками на голове, бритыми щеками и пушком на подбородке. Они выносили мебель и ящики. Последним шел старик слуга, он нес коробки с книгами. Дверь закрылась снова.

Дез Эссент бессильно опустил на стул.

— Через два дня я в Париже. Ну и довольно, — сказал он, — все хорошо, что хорошо кончается. Людская серость как волна во время бури. Взлетит до небес и захлестнет мое прибежище, врата которого я сам же невольно и распахнул. Боже, мне страшно, сил моих нет! Господи, сжалясь, помилуй христианина, который сомневается,

маловера, который жаждет веры, мученика жизни, который, покинутый всеми, пускается в плавание под небесами, где по ночам не загорается спасительный маяк старой надежды!

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ.....	9
ГЛАВА I.....	18
ГЛАВА II.....	26
ГЛАВА III.....	35
ГЛАВА IV.....	53
ГЛАВА V.....	63
ГЛАВА VI.....	79
ГЛАВА VII.....	85
ГЛАВА VIII.....	97
ГЛАВА IX.....	109
ГЛАВА X.....	121
ГЛАВА XI.....	135
ГЛАВА XII.....	151
ГЛАВА XIII.....	176
ГЛАВА XIV.....	188
ГЛАВА XV.....	212
ГЛАВА XVI.....	225

Жорис-Карл Гюисманс
Наоборот

Редактор В. Толмачев
Корректор Т. Озерская
Верстка Н. Кузнецова
Художественное оформление серии
В. Петров

Подписано в печать: 01.03.2005

Формат 76 x 108 / 32

Усл.-печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 8,8.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 5000 экз.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005 Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46

Заказ № 462

ООО «Издательский дом «Флюид»
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, стр. 1
тел./факс: (095) 785-56-20
e-mail: fluid@parlant.ru

серия «ВИНТАЖ»

Если вас «загнал» ритм современной жизни и вам необходимо, отдохнуть, развеяться, оказаться на островке стабильности и хорошего настроения — «окупитесь» с головой в классику, она не подведет. В этой серии вы найдете шедевры французской словесности, в том числе и неизвестные, которые совершенно случайно не оказались на вашей книжной полке. Перечитав или открыв для себя классиков, вы убедитесь, что настоящая Литература — только та, что выдержала проверку временем.

Виктор Гюго

«Последний день приговоренного к смерти»

Этот «дневник» первоначально был опубликован анонимно и имел феноменальный успех. Гюго не сообщает, в чем вина этого приговоренного, он просто недоумевает: существует ли преступление, соизмеримое с муками, которые испытывают осужденные в ожидании исполнения приговора? Откуда у одного человека появляется право лишать жизни другого? Повесть выходит вместе с предисловием от издателя (то есть автора), где Гюго утверждает, что «его роль — роль ходатая за всех возможных подсудимых, виновных или невинных, перед всеми судами и судилищами, перед всеми присяжными, перед всеми вершителями правосудия».

Написанная даже не вчера, повесть поражает своей актуальностью и сегодня.

Альфонс Доде
«Тартарен из Тараскона»

Тартарен живет в Тарасконе, в южном провинциальном городке. Его незатейливые и добродушные соседи сплетничают, играют в карты, поют забытые романсы, иногда придумывают развлечения, вроде стрельбы по фуражкам и больше их ничего не интересует. Но Тартарен не такой: он великий фантазер, и именно поэтому живет в ином, захватывающем и ярком мире. Он мечтатель с душой Дон Кихота и телом Санчо Пансы. И это «соседство» предполагает разные забавные переделки и столь же занимательное чтение.

Тартарен из Тараскона пережил свою эпоху, так как во все времена, иногда так тянет совершить что-то «героические». Так хочется принять желаемое за действительность.

Подвиги живут вечно, как и герои!

серия «РУССКАЯ ЛИНИЯ»

Уже в продаже:

Олег Гладов

«Любовь стратегического назначения»

Однажды каждый из нас оказывается один на один с Тьмой. Один на один потому, что общение с Тьмой – не групповое занятие...

Сделать шаг или вернуться?

Не раздумывай.

Сделай шаг в почти осязаемую Черноту...

Что там? Может быть, выход?

Решись. Где бы ты ни находился – в кипящем мегаполисе или на замерзшем полустанке, продолжай искать свою дорогу. Не сдавайся безнадёге и беспомощности. Любовь не одолеть. Даже когда штыком высших сил тебе наносят рану глубиной в жизнь. Когда реактивные чувства разрывают тебя на миллиард маленьких осколков и каждый из них продолжает любить. И жизнь снова наполняется красками, а в усталом теле вновь начинает кипеть кровь, пробуждая ненависть, любовь, печаль и радость...

Владислав Отрошенко
«Персона вне достоверности»

На пути вымысла и мистификации эта книга завела автора так далеко, что он и сам приобрел черты такой персоны. Итальянский журнал «Рапогата» назвал Владислава Отрошенко «человеком Юга, лирическим изобретателем фантастических миров и атмосферы чувственности». Из публикаций в российской прессе может сложиться впечатление, что он человек Востока – недаром же журнал «Афиша» посвятил его творчеству статью под заголовком «Вести из Бутана». Достоверным, однако, остается тот факт, что заслуги писателя отмечены премией «Гриндзани Кавур» (Италия) и национальной премией «Ясная Поляна», а его произведения публикуются в США, Китае, странах Восточной и Западной Европы.

Время, пространство, смерть, сновидения, иллюзорность мира – вот темы пяти повестей, составляющих книгу. Каждая из них захватывает своим сюжетом. Вместе они представляют феерическую хронику, в которой переплетаются миф и реальность, философская мысль и художническая страсть. В Италии, где была впервые опубликована «Персона вне достоверности», рецензенты писали, что эта книга – «убедительное доказательство жизненной силы современной русской прозы». Добавим, что она также доказывает связь автора с миром достоверности.

*Наши книги вы можете приобрести в
следующих магазинах:*

Москва

Торговый дом книги «Москва»

ул. Тверская, д. 8 т. 797-87-17

Режим работы с 10-00 до 1 ч. ночи

Московский дом книги

ул. Новый Арбат, д. 8 т. 789-35-91

Режим работы с 10-00 до 22-00

Дом книги «Молодая гвардия»

ул. Большая Полянка, д. 28 т. 238-50-01

Режим работы с 10-00 до 21-00

Торговый дом «Библио-глобус»

ул. Мясницкая, д. 6/3 т. 928-35-67

Режим работы с 9-00 до 21-00

Книжная лавка «У Кентавра»

ул. Чайнова, д. 15, тел.: 250-65-46

Режим работы с 10:00 до 19:00

Дом книги на Ладужской

ул. Ладужская, д. 8, стр. 1, тел.: 267-03-02

Режим работы с 10:00 до 21:00

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский дом книги

Невский пр., д. 28 т. (812) 318-64-02

Сеть книжных магазинов «Буквояд»

Невский пр., д. 13 т. (812) 312-67-34, 311-51-46

По вопросам оптовых поставок в

Санкт-Петербурге

обращаться в издательство «Симпозиум»

ул. Малая Морская, д. 18 тел.: (812) 595-44-42

Эту книгу о денди-парфюмере конца века
одни называют «кораном декаданса»,
другие – «священной книгой денди».

Оскар Уайльд писал об этом романе:

*Меня пленила поэзия книги с ее
диковинными запахами и красками.
Гюисманс – великий пророк, пред-
сказавший наступление века искус-
ственности, когда природа истощит
свои силы и на помощь ей придет
воображение художника.*

ISBN 5-98358-054-X



9 785983 580541 >

